

827/544
С 47

ДЮВ

**СУДЬБЫ
НАТЯНУТАЯ
НИТЬ**

ПОВЕСТЬ

821/574)
С.К.З

НИКОЛАЙ СЛЕПЦОВ

**СУДЬБЫ
НАТЯНУТАЯ НИТЬ**

ПОВЕСТЬ

Караганда, 2014

УДК 821 (574)
ББК 84 (5 Каз-рус) - 44
С 47

Над книгой работали:

Текст: К. Круглов
Набор и оформление: Ю. Александрова,
Ю. Билушенко

Слепцов Н.

С 47 Судьбы натянутая нить: повесть/Николай Слепцов.

Подготовлен к печати в издательском доме «Классик».-
Караганда: Арко, 2014. 120 с.

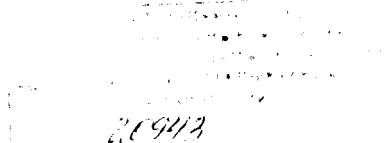
ISBN 978-601-204-217-7

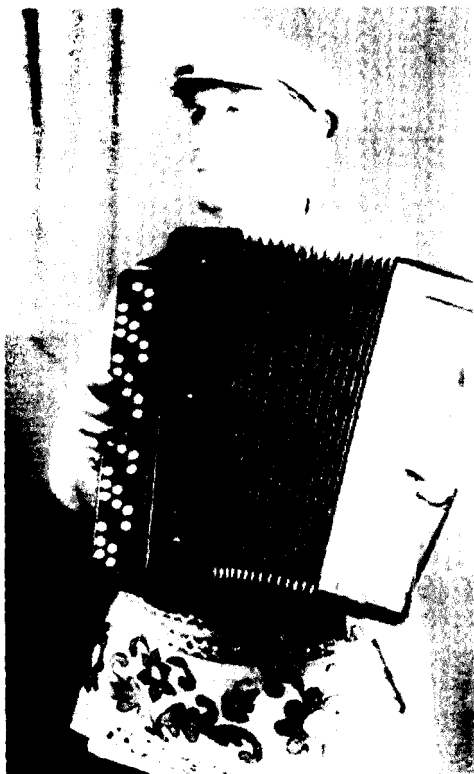
Содержание повести Николая Слепцова тесно переплетено с тем, что из века в век принято называть непреложными ценностями, — святостью родственных уз, стремлением прийти на помощь ближнему, готовностью пожертвовать личными интересами ради тех, кто близок уму и дорог сердцу. Автор далек от того, чтобы упиваться величиим собственного духа, однако само название произведения отражает его позицию: жизнь каждого человека — это натянутая нить, и лишь от него зависит, не оборвется ли она раньше уготованного судьбой срока.

УДК821 (574)
ББК 84 (5 Каз-рус) - 44

ISBN 978-601-204-217-7

© Слепцов Н., 2014.





Как непрофессиональный, но все же гармонист, люблю музыку, песни и преклоняюсь перед их создателями и исполнителями. Отчего и посвящаю эту книгу певцам и музыкантам, поэтам, рождающим тексты для песен, журналистам, всем издателям Караганды, прославляющим наше искусство, культуру и литературу, какие всегда были сестрами.

Автор

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие, на мой взгляд, дается, прежде всего, чтобы заинтриговать читателя. Заинтригованный, он непременно захочет помчаться по предлагаемому сочинению, как по неизведанному морю, — в поисках жизненных интриг, закрученных мыслей. Высокие волны и пенное забвение тоже в человеческой жизни нет-нет, да встречаются.

Замечено, человек — невероятно загадочное существо. В окружающем его мире в целом много живых существ. Но его внутренний мир, поступки, действия, мысли и слова, бывает, удивительно разнятся с устоявшимися жизненными правилами поведения человека в окружающем его мире, в общении его с друзьями, с недругами и в целом со своим отечеством. Не хочется говорить в предисловии о героях повести и о человеке, бывшем с ними во время всего повествования. Ну, читатель у нас нынче истинно энциклопедического склада, потому он разберется в Лермонтове, какой заметил, что основной герой его романа есть истинный герой нашего времени. Такой цели у меня нет, почему я и не ставлю свою подпись под этим предисловием, как не поставил его и большой поэт Лермонтов, равняться с каким сегодня не сможет ни один поэт современности, тем более такая микроскопическая песчинка в литературном мире, как я.

ГЛАВА 1

В ноябре 2009 года мне позвонили с большой железнодорожной станции Алґабас, что близ Степняка по направлению на Россию, и сообщили об инсульте, свалившем моего восьмидесятилетнего старшего брата Ивана. Он потерял движение, левая часть тела полностью была парализована, отчего братишка мой требовал постоянного ухода во всех отношениях. Жену свою он схоронил лет восемь назад и все это время жил бобылем. Жил в барачном доме на четыре хозяина, по две квартиры с обеих сторон барака.

Сторона Ивановой квартиры оказалась солнечной, веселой, с видом на огород и сарай, хранивший в свое время бывалый мотоцикл "ИЖ", непрременных двух хрюшек и десяток хохлатого семейства, радующего своего хозяина яйцами и беспокойными цыплятами, отказаться от каких он не мог ни при жене, ни после нее: как-никак, они неплохо кормили хорошим диетическим мясом, что для стариков важнее говядины или свинины. Хрюшек в последние годы Иван извел, извел телочку и бычка, а с курами хорошо дружил и хорошо их подкармливал, одаривавших его в благодарность своей хрупкой круглой продукцией.

У брата Ивана я бывал по несколько раз в году. Мне как пенсионеру поездка к брату не составляла трудностей: сел на поезд, бегущий из Алматы, девять часов езды — и в Алґабасе. Брат всегда радовался моему приезду. Годами мы разнились в круглую семерку, и я даже помнил, как Иван ухаживал за мной и за нашей сестренкой, двумя годами явившейся на свет позже меня.

А ухаживал брат за нами годом позже начала войны, когда в февральскую стужу сорок второго с отца сняли какую-то бронь и забрали на фронт. Ивану в то время стукнуло двенадцать, а я, пятилетний, вовсе не ходил под стол пешком, а ухаживал за сестренкой, кормил ее кашей и всем, чем богат был стол, холодил и давал ей пить чай. Брат приветствовал мое усердие и мою сообразительность и в благодарность где-то доставал нам по конфетке-подушечке, какими мы с сестренкой лакомились, как привидениями.

Матушка ухаживать за нами не могла, потому как была трактористом, извечно пропадала на полевом стане, пропадала в весеннюю пахоту и в хлебоуборочную страду. И только глубокой осенью, а то и с первым сне-

гом, матушка освобождалась от своих тракторных работ и вплотную занималась своим семейством. А без матушки мы с братом получали продукты по продуктовым карточкам, сами что-то готовили по ним. Была это какая-то каша, суп картофельный без мяса, но на постном масле, и что-то макаронное.

По приезду домой мама удивлялась нашей с Иваном находчивости, удивлялась и тому, что мы были как-то одеты и как-то помыты. Конечно во всех этих делах я был с боку припека, все ложилось на Ивана, а как он справлялся со всем, я и мама не могли понять. Иван, видно, знал это и говорил:

— Мам, ты за нас не беспокойся, работай себе на здоровье и зарабатывай денежки. Раньше у вас с отцом было две зарплаты, а теперь одна лишь твоя, на какую надо прокормить такую ораву. В вашем тракторном парке зарплата, говорят, не разгонишься, но мы зубы на полку не ложим, одеты и не в холоде. Кизяк и камыш в зиму всегда есть, остальное достанем, как все. Как все, ждем писем с фронта и ждем конца войны. Когда это случится — никто не знает, но у газет хорошее настроение после Сталинграда, так что еще один такой Сталинград, и немцам придет капут.

- Слава Богу, сынок, вы не голые, не босые и не голодные, и мама не позволит вам быть такими!

— Война, мама, не спрашивает, чего вам нужно. Она берет с людей, что ей нужно, потому как это война, а на войне гибнут и молодые, и старые, трусы и герои, дети и их родители, города и селения, а чтобы оставить их живыми, мы должны что-то отдавать — работу, здоровье, деньги...

Моему приезду Иван был несказанно рад, от радости даже прослезился:

— Вот такая, брат, беда сотряслась с твоим старшим! Врачи были, ставили какую-то систему и уколы и говорят, что повезло мне, сраженного одной половиной, тогда как могло быть при инсульте и бывает в истории медицины много хуже и страшнее. Левая сторона у меня и правда не фурчит, рука и нога атрофированы, но мозг работает, глаза и слух в действии, аппетит такой же, как и до этого, не пропал. По уверениям врачей, система и уколы могут помочь мне даже встать и ходить с помощью по комнате или хотя бы несколько шагов. Большого врачи не обещают. Инсульт — штука непредсказуемая, малоизученная, что он в себе несет и когда проявляется, человечество, мол, пока не знает и вряд ли узнает в ближайшее время.

Соседи, кто за Иваном ухаживал первые дни, так мне откровенно сказали:

— Если на проверку, то в своем инсульте твой брат сам виноват. Как

нам стало известно, сосед Ивана Петро пригласил его в баню, после какой ударил по русскому обычаю, как того якобы советовал сам Суворов: штаны продай, а после бани непременно выпей! Вот и выпили... Петру — чрсн по деревне, потому как ему только за шестидесятник перевалило, а Иван свой семьдесят девятый добивал, вот старика и стукнуло. А Петро и сейчас после баньки ударяет не одной и не двумя рюмками, и ничего — здоров, как бык, хотя и на пенсии...

Откуда взял Суворов такую дребедень — выпить после баньки, такого никто не знает и, видно, никогда не узнает, поскольку как это не иначе как наше русское изобретение: выпить после баньки. Русский мужик всегда любил баньку, но он после нее забавлялся чаем, а ударить стопарик — это уже чисто русское изобретение и, наверное, такого далекого времени, может, даже петровского.

В мой приезд побывала у брата и медсестра. Сделала какие-то уколы и посоветовала мне приобрести в их поликлинике большие памперсы, пока они есть: на данном этапе болезни они больному нужны, да и вам они облегчат существование. Откладывать я не стал и в этот же день приобрел чертовы памперсы. "Сколько?" - спросил у врачей. Сказали, что сотни молторы не помешают. Приобрел я эти полторы сотни и был рад такому приобретению весь 2010-ый, пока Иван не начал с помощью вставать и с помощью же ходить по комнате. За год все эти памперсы были использованы и улетучивались на помойку, каким я был как-то благодарен и благодарен человечеству, изобретшему такое человеческое спасение. Где-то у себя в дневнике записал: "Надо бы памперсу поставить памятник, как поставили в Перми памятник ушам. Найдутся ли в мире такие смельчаки — Бог весть, только памперсы достойны восхваления и своего почтения".

Годовщина ухода за братом поистине отняла у меня полжизни. Не знаю, как на самом деле, а по моим прикидкам, я отчего-то стал сдавать, худеть и совсем плохо спать. Брательник меня ни в чем не радовал: днем он постоянно курил, курил и ночью, отчего на сутки ему требовались две пачки сигарет. Я говорил брату:

— Ай, Бузумбай, зачем так часто курить, это же вредно для здоровья! Послушай, что врачи говорят, это чуть ли не сам себе роешь могилу!..

- А чего тут курить, Калкаман Досанович? Я начал курить с пацанвой еще в первом классе, когда ты только на свет народился. Со своими дручьяками пацанвой бегали в контору и подбирали окурки, разворачивали их и содержимое высыпали в свою газету, крутили из них папиросы и курили. Отец и мать этого не знали. Отец сам курил и коптил, как паровоз, так что ему было не до запаха табака от сына. Когда отца забрали на

фронт, стал курить открыто, так что курительного стажа у меня, брат, аж все семьдесят пять годков. Насчет нынешнего курева, Калкаман Досанович: чего тут курить? Куревно размещают на каких-то трех сантиметрах, а остальное - фильтр. Видишь ли, каким хитрым способом наши легкие спасают! А раньше о том и понятия не имели, смолили самосад, и ничего, мужики до самых девяноста лет дотягивали. Я вот так до восьмерки дотянул, а ведь всю жизнь дымлю, дымлю, когда врачи категорически запрещают. Ну, на врачей надейся, а сам не плошай. Для врачей вообще ничего нельзя: пить нельзя, курить нельзя, утруждаться нельзя, переедать тоже нельзя, когда желудок требует - дай, и все. Нет, брат, надо и своей головой жить, как жили двести и триста лет назад наши предки!

Первый раз назвал брата Бузумбаем. Думал - обидится, только он, напротив, обрадовался и повеселел. Ну как же! Родился брат в ауле Кенбидaik Кургальджинского района Акмолинской области, с детства дружил с казахской детворой и в совершенстве знал казахский язык. Может, потому они часто угощали его куртом, иримшиком и пышными казахскими лепешками - табананом, чего перепало и нам с сестренкой.

С окончанием войны брательника моего и его пятнадцатилетних сверстников какие-то люди из областного Степняка посадили на машину и увезли, сказав мамаше, что это решение властей и правительства о помещении данных подростков в ФЗО, какое будет из них готовить рабочий класс. Мужиков-то столько полегло, а кто их заменит? Их дети и заменят..

Поплакала мамаша, поплакала, только ведь не она одна лишилась сына и помощника, лишились и другие матери. Война столько натворила, что расхлебывать приходится и в мирное время.

А в День Победы мне стукнуло аж восемь лет, сестренке — шесть, так что мы уже могли и сами за собой ухаживать. И ухаживали, только еду нам готовила какая-то тетка, какую, видно, мама где-то отыскала: во время войны в ауле приبلудного народу было хоть отбавляй...

А с брательником готовить приходилось мне самому. Чего не знал, как и что делать, звонил домой к своей Гульчатай, спрашивал. Жена мне говорила: "Не мудри, Абдрахман, брось рис, картопан. Когда сготовится, зажарь свиным салом, чего у тебя, говоришь, море. Не забудь с лучком сделать жаренку, иначе пропадет добрый вкус". В другой раз спрашивал, как сделать плов, все ингредиенты: это я ей по телевизионному, мол, есть, а что куда и что зачем идет — не знаю. Хочу, мол, плов, потому как супы да борщи надоедают!

Спасали несколько раз государственные пельмени и вареники — вкус-

ные, паразиты, но кусаются по цене. Иван любит покушать; вместо чая даю ему сок - от томатного до вишневого и яблочного. Сам тоже их употребляю, и ничего, цвет лица не меняется, живот не полнеет, за чем я строго слежу. Зарядку я делаю по утрам, когда брат еще спит или уже просыпается, чтобы ударить сигарету на голодный желудок. Говорю, давай сначала попьем чаю, но брат неуговорим и делает свое темное дело. Я кипячусь, возникаю, матерюсь даже, но брат на мои возмущения - ноль внимания и два презренья, отчего я пинаю кота и сам затягиваюсь глубоким дымом. Когда брат заканчивает с курением, говорит: "Давай, брат, теперь начинаем!".

Курил не первый год и я, но мне пачки хватало на три дня; братан же за все что время ополовинивал десятипачковую упаковку с фильтром. Через неделю курительный арсенал брата заканчивался, и я вынужден был гнать соседний ларек, какой меня просто приветствовал: ну, найти им такого щедрого Себастьяна удавалось нечасто, а тут он сам приползал и ныбрасывал тыщонку без счета. Бросил одну длинную теньгу, забрал товар - и алга! Пробовал я покупать братану что-то такое без фильтра, вроде "Памира", но брат их не приветствовал, поскольку они наполовину мокли, и сигарету приходилось выбрасывать. Достал для этих целей коммунистический мундштук, но брат от него отвык, и не было в нем тяги вкуса, какой чувствует настоящий курильщик.

За весь десятый год пребывания в Алгабасе я почти не приобрел себе близких друзей, с кем можно было бы просто побеседовать и кто просто бы мне посочувствовал. Уголь и дрова я заказывал сам. Мне привозили, сваливали во дворе, а дальше, дед, колупайся один со своим хозяйством! И колупался, заносил уголь ведрами в сарай день, два, три, пять. Шесть тонн зимнего запаса враз не утащишь и не умыкнешь, а растянуть на неделю посильно было для моего возраста.

В перерывах между угольными ведрами наведывался я к брательнику, какого надо было и на ведро сводить, и переключить для него какую-то телепрограмму. Отхожее ведро я приспособил под обычным стулом, с какого удалил сиденье, оставив чистую большую дыру, какая принимала любого взрослого седока.

В обычные дни одним походом в магазин я запасался всем необходимым впрок на неделю-другую, и хлеб в целлофане, да еще в холодильнике оставался свежим чуть ли не всю неделю.

В зиму на меня наваливалась основная забота — печь, сделавшая из меня исправного истопника. Пока Иван дремал или уже смолил свою сигару, я чистил печь, выгребал золу, закладывал газеты и дрова, подпаливал

их, и моя печь начинала гудеть, а значит, работать. Я засыпал уголь и давал огню священнодействовать во всю свою огненную мощь. Плита накалялась, краснела, по комнате разбегалось тепло — до простой рубахи, не требующей накидки или какой-то толстовки с пиджаком.

Теплом размаривало брата, он засыпал, а я обращался к своему дневнику, какому изливал свою душу. Писать, как говорит моя Гульчатай, я мастак, но толку от моей писанины не было ни мне лично, ни друзьям, ни обществу: "Тратишь время, Сегизбай, и ночами блукатишь со своими бумагами, а толку-то все равно нет. Пусть не будет материальной отдачи, к какой ты вовсе не стремишься, так пусть будет хоть известность, чего ты и добиваешься, Амантай, всеми своими книгами. Правильно, ты прожил жизнь и хочешь о себе оставить память. Есть такая хандра у людей". Я молча проглатывал все слова Гульчатаевского возмущения и все равно продолжал свою писанину — просто так, может, больше для себя, чем для большого света. Меня здесь никто не тревожил, и я давал полет своим мыслям до любых высот.

А приходило в голову всякое, путевое и непутевое. Путевое — мое детство, военные годы до Дня Победы и 1947 года, когда вернувшиеся с войны мамыны братья увезли ее вместе с детьми в большой железнодорожный Алгабас, где оба бывших солдата трудились теперь на железной дороге. С Кенбидаиком, где я родился, я распрощался со слезами, потому как уезжал от друзей, от нашего приветливого озера и от бескрайних степей, какие тянулись до самого Кургальджино. Я не знал, не знал, что было дальше Челкара, Сабундов и Караегина.

В 2010-ом исполнилось 63 года, как я покинул Кенбидаик и за эти годы ни разу его не навестил. А ведь мог же, ишак бухарский, поскольку уже был пенсионер, времени куча: садись на автобус - и здравствуй, родина, здравствуй, Кенбидаик, здравствуй, свет моей отчизны! Так нет же, старикан долбаный, не подумал и не сообразил, что нужно такое сделать, для себя же, идиот притыренный, для души, для своего сердца.

И брат мечтает попасть в свой Кенбидаик, о чем мне говорит в часы досуга:

— Думаю, что из болезни я выкарабкаюсь и, перво-наперво, навещу свою родину. Хорошо бы сделать нам это вдвоем, брат! Пенсия у меня — жаксы, акша менде бар. Да и ты, вижу, не последний кусок доедаешь, коньячок иногда попиваешь, когда на тебя грусть-тоска нападает. Я бы от этого тоже не отказался, Кузембай, но сам знаешь, какая у нас медицина: нельзя, и точка! Выпьешь рюмку — копыта отбросишь, а потому о рюмке и мечтать нечего. А по правде, брат, я очень хочу после выздоровления на-

вестить наш Кенбидаик. Родина, она всегда манит, где бы ты ни был и где бы тебя ни носило. Если, брат, я отброшу копыта, ты все равно съезди на нашу родину и поклонись нашим полям и нашим огородам, какие нас всегда кормили, нашим улицам и нашим баракам, где жили солдатки и их дети. Просто поклонись, и ты почувствуешь в своей душе облегчение. Родина должна тебя призвать и принять, особенно если встретишь кого-то из друзей детства. Кто-то из них, наверное, жив по сей день, кто-то ушел, но не могут уйти все: кто-то и теперь еще топчет нашу грешную землю и просто коптит небо. Вот такие у меня, брат, предсмертные мысли...

Ну, Абдрахман, ты вообще в ту степь подался! Тебе намного получше, на ведро ходишь пусть и с помощью, но уже не нужно приносить его из коридора. Системы тебе помогают и, может, вообще поставят тебя на собственные ноги. Я уже и Бога о том прошу.

- Не знаю, брат, как Бог, а медицина что-то да дает. Это я на себе чувствую и молю Бога, чтоб тебя не утруждать. Ведь это я оторвал тебя от Гульчатай, от твоих друзей и от твоей писанины, чемты занимаешься, Куреке, не первый год. В целом я тебя не читал, но друзья мои говорили о тебе как о талантливом человеке, какого они часто видят по газетам и даже по журналам. Видели тебя в "Казахстанской правде" и в "Свободе слова", видели и в "Новом поколении". Это в газетах. А вот некоторые читали тебя в "Просторе" и "Ниве". Я их не видел и не читал ни разу, но люди о тебе знают, Калдыбек, что мне очень приятно.

- Это, Рустем, слабая известность: прочел и забыл, кто там и о чем писал. Родить бы надо нечто фундаментальное, скажем, повесть, как, скажем, "Повесть о настоящем человеке" или нечто подобное "Герою нашего времени" — с душой и психологией автора, с его мыслями, обращенными больше к себе, чем к сторонним людям. Лермонтов умел мыслить в себе. Мыслил и рассказывал о себе и Жан Жак Руссо, только Лермонтов не зря его упрекал, что "Исповедь" его имела тот недостаток, что он читал ее своим друзьям. Я такого не позволю, хотя мне до Лермонтова и Руссо, как свинье до неба. Вот написал же Распутин хорошие повести, какими прославил себя и свою Сибирь, и свою Ангару. У меня на такое тямю жок, отчего мне жизнью предначертано, Тугамбай, оставаться простым Ванькой с пивзавода, какого знают жители по жилой площадке да по подъезду, в каком всего лишь восемь квартир. В моем поселке меня знают больше по моему баяну да по концертам, что мы даем своим ветеранским хором "Сударушка", а по моим писательским замашкам меня не знают даже самые близкие. Гульчатай еще что-то почитывает, но она не верит в мою писательскую будущность. Я-то к ней стремлюсь уже который год, какая толь-

ко теперь с тобой и в твоём Алгабасе снизилась до минимума. Куда ж мне от тебя деться, братан, раз так жизнь сложилась? Вот ночью, когда ты спишь, своей ерундистикой и занимаюсь, свет кручу, но что-то рождаю. Несколько вещей уже услал в степнякскую газету "Целина". Как она распорядится моей писаниной, не представляю, но думаю, что мои вещи не хуже тех, что мне приходится читать у них.

А в Жанадыре, и правда, меня знают немногие. Кроме тех, что я перечислил, знают еще и друзья по бывшей работе да пенсионеры в очереди за пенсией. Один, правда, нашелся, какой сказал, что читал меня в газетах, но это больше журналистские вылазки, а нужно нечто капитальное, жизненное, чего наши газетчики избегают. Им интересно тиснуть о футболе и хоккее, о театральных постановках, о трудностях со школьным ЕНТ, какое заменило простые экзаменационные билеты, какие практиковались у нас в стране как бы не все семьдесят лет. Практиковались эти билеты, наверное, при Пушкине и при Лермонтове, да и в последующие годы. Как бы там ни было, Карсакпай, а, думается, нашим властям для школьников и поступающих в вуз надо возвратить старые экзаменационные билеты. Вытащил какой на глазах экзаменатора и отвечай. Так было у нас всегда, и ничего — учились, растили своих инженеров, свои политические силы, свои кадры, вплоть до своих президентов в последнее время.

— Я тебя понимаю, Каракесек, но влезать в большую жизнь я бы не советовал. Все равно нынче народ не слушают и все делают, как советуют и предлагают чиновники. Я вот больше о твоей писанине, Марат Калкенович. Роман, скажем, это же люди, события, мирская жизнь, какая дается больше великим. Ну, а мы-то, Темирбай, люди маленькие, и я не знаю, на какие подвиги ты, брат, способен. В нашем роду, какая знаю, нет ни одного человека с высшим образованием, толькоты из нашей фамилии заимел университетское. У сестренки — железнодорожный техникум, у брата Толика — тоже. Может, у тебя что-то получится с писательством, только я хотел бы видеть это при своей жизни.

— И мне хотелось бы того, Темиргали. И есть о чем писать, но сам видишь, в каком я положении. Куда я тебя дену, кто будет с тобой до конца дней твоих? Дочерям ты не нужен, у них свои семьи. Одна живет на БА-Ме, другая в Беларуси, третья в Краснодаре и только четвертая в Жезказгане. У них семьи, дети, мужья, и недвижимый старик для них — это же истинное несчастье, какого они избегали весь 2010-ый, даже в отпуск ни одна не наведальась, не проведала больного отца, причем больного так серьезно.

— Да, брат, дочери — это не сыновья, как у тебя. Дочери — это своео-

образный народ, в чем я все больше убеждаюсь. Как-никак, а дочери все равно зависят от своих мужей, какие правители в доме: от них зависит, где жить тестю. Их молчание и телефонные невнятности говорят о том, что я им просто не нужен. Вот только у тебя да у брата Анатолия остаюсь я на попечении- вы меня, скорее, и доведете до могилы. Я же чувствую, какое у меня сердце: левая сторона совсем отключена, а сердце как раз и находится слева. Так что, брат, думаю, что не слишком я заживусь и освобожу тебя от всех забот и мучений со мной.

Я же вижу, брат, эти проклятые памперсы, потом отхожее ведро, потом купание, смена белья, одевание, бритье моей щетины, ну и готовка всех обедов, завтраков и ужинов. Ты без жены уже второй год, так что как бы твоя Гульчатай не поставила твой чемодан на площадку. На деле получается, что в доме мужчина фактически есть, но его же фактически и нет. Не человеческая это история, Темиргали, а какой-то наплыв человеческих страданий! Вот через несколько дней наступит 2011-ый, и как мы будем жить в нем, я не представляю. О себе не забочусь, моя песенка спета, а вот зачем вам с братом мучиться подле меня?..

Вот такой у нас с Иваном состоялся нежданно-негаданно предновогодний разговор. Я высказал ему, что было у меня на душе, высказал откровенно, да и он высказал свою боль. Брат Анатолий этого не слышал, но, видно, что-то чувствовал во всякий свой приезд. Два раза в месяц брата мы купали, одевали и брили его щетину, что мне одному просто не удавалось.

Анатолий был моложе меня на все четырнадцать лет, сил и проворности у него, ясно, было более моего, почему я всегда ждал его приезда с нетерпением. С его приездом мы разворачивались на всю катушку, собирали всю стирку, какую он увозил в Степняк домой, а со следующим приездом все привозил обратно.

Свое белье я стирал сам зимой и летом; одной сорочки же мне хватало как бы не на месяц, потому как они все были у меня черного да коричневого цвета. Когда менял- складывал где-то в уголке и увозил домой, когда брат менял меня капитально на весь рабочий отпуск. А это дней двадцать пять, за какие я старался переделать в доме все, чего хотела моя Батима-Гульчатай.

А делать-то фактически ничего и не требовалось. Ну, прикрепил на заднем окне большой термометр, что Гульчатай очень понравилось. Выровнял телевизионную антенну, поскольку ее крепко накренило, навел какой-то порядок в сарае, где у нас хранились газовые баллоны, и теперь не надо было при смене шагать через весь сарай, а взять его тут же у две-

ри с одной стороны, отставив пустой в другую. И это новшество Гульчатай пришлось по душе, за что она мне даже сообразила жуз грамм.

Другой работы не находилось, и я выполнял только задания жены на-счет магазинных покупок. Жена составляла мне список, что нужно приобрести, и я шел в магазин, как солдат на серьезное задание. На листочке моя Гульчатай, например, писала такое: "Батон "Орион" кара - один, ак - два, нан отрубной - два, нан "Шахтерский" — два". В этом же отделе отоваривался "Молоком моим", кефиром 1%-ым, сырками, колбасой "Докторской оригинальной". Иногда было написано: "Йогурт".

Продащица клала перед собой листок, товар складывала на прилавке, считала, говорила мне цену. я расплачивался и все собирал потом в свой объемный пакет. Продащица говорила мне: "Рахмет", а я ее тоже благодарил взаимно, и мы оба оставались довольными друг другом.

В другой раз продащица не спрашивала у меня: "Не керек?", что означает "Чего надо?", а просто искала в моих руках эту заветную бумажку. На память я не надеялся, тем более, в таком щекотливом деле, как продукты, отчего и попросил Гульчатай делать мне такую обширную запись. Говорят, продавцы любят и приветствуют такой метод. Гульчатай такого метода не придерживается и делает исключение только для меня.

ГЛАВА 2

Насчет друзей - у меня и впрямь их не было, но приходили друзья Ивана, с какими он знался и дружил, как я понял, много лет. Приходила соседка Татьяна, холостая тетка за пятьдесят, у которой муж умер или разбился на мотоцикле уже как бы с десяток лет. Татьяна с той поры холостякует и не делает для себя какого-то выбора. На наших посиделках она прямо так и говорила:

- Ну, где нынче найдешь мужика путевого? У нас в поселке все женатые, нет аже горбатого холостяка, какого я бы отмыла как бы и выровняла. Так нет же таких! Ну, хотя бы бомж какой-нибудь завелся со степи или с разъезда, так и бомжей-то нету: все какие-то порядочные, все работающие, а то и вовсе в галстуках воздух рассекают. Извелся порядочный народ, некому рюмку налить да приласкать, вот и майся уже столько лет одинокой...

Дети у Татьяны были, аж трое. Два сына шоферили тут же, в Алгабасе, а дочь осчастливила какого-то бизнесмена в Астане. Живет шикарно, к матери приезжает с дорогими подарками, о каких Татьяна только и говорит:

- На шо они мне? Я сама работаю, все у меня есть, а мужика нет. Ты мне мужика подай, хоть горбатого! Так и горбатые нынче перевелись...

С Татьяной приходила и Галина — тетка замужняя, боевая, на месте подметки рвет. Приходили к нам с братом они обычно с "пузырем", хаклой мы и приговаривали к казни. На "родимую" я, в общем, не броскми, но отказать женщинам в приветствии и закуске никак не мог.

Приходил еще и Григорий Иванович со своей половиной Машей, какие тоже приносили "пузырь" "родимой". Мне оставалось только подать закуску, что я и делал при любом их приходе. Было это и зимой, и летом — летом так чуть ли не каждый выходной день. Понимал: пенсионерам надо было как-то коротать свое время, вот они и шли к старому дружьяке, какой столько лет жил один, один скучал, один же, бывало, и поддавал рюмку-другую. Григорий Иванович и Маша приходили ему на помощь; один "пузырь", бывало, только раззадоривал, отчего сходка не раз заканчивалась русской песней.

Такой дружеский контингент бывал у меня весь 2010 год. На встречу же 2011-го я предложений не делал: Новый год, считал, по-семейному праздник у себя отметят.

29 и 30 декабря нас никто не навещал. Брат Анатолий позвонил из Астаны, что приехать не сможет, так как у него ночная смена: "Встретимся лучше на старый Новый год, посидим, сделаем брату "купальный сезон".

Ну не сможет - так не сможет. Большую пачку пельменей я купил накануне, потом какие-то куриные ножки подвернулись. Я их крепко поджарил и просто смаковал и наслаждался: Гульчатай до этого по телефону рассказала мне всю инструкцию по их поджарке. Приобрел я яблочный сок, какой брат предпочитал более других за кислинку.

К пельменям у меня в кладовке висело копченое свиное сало, какое всегда шло под русскую рюмку. Мясные консервы и знаменитая килька тоже ожидали уничтожения, но это уже на любителя, каким считался неизменный Григорий Иванович, который говорил, что эти деликатесы даже отрезвляют.

На деле праздничное новогоднее торжество прошло так, как оно, видимо, и должно было произойти в захолустном Алгабасе, где я уже отбыл спой тяжелый семейный срок в год и два месяца. После трех дней гостей и их неизменного кутежа я, наконец, вздохнул и записал в дневнике, что все -таки и как было.

Днем 31-го спросил у брата, как самочувствие, что волнует, что тревожит, на что брат отвечал, что медицина у нас и правда имеет вес, их уколы и система дают ему жизнь и какую-то надежду. В наступающий праздник надо и ему преподнести стопку, вкус которой он просто забыл, и к ней его просто тянет.

- Может, она разогреет кровь, и у меня зашевелится левая сторона? — спросил брат. - На медицинский запрет в этом деле надо просто положить, потому как рюмка-другая никому еще не шла во вред. Напротив, она убивает вредные микробы и придает жизни стимул!

В общем, гостей я не ожидал и готовился встретить Новый год с братом, просто вдвоем и просто по-братски. Рюмку я планировал ему налить и без его напоминания. Правая рука у него двигалась, ложку и стакан он держал без помощи, хлеб держал тоже без помощи и даже помогал левой рукой, у которой даже начинали шевелиться пальцы. Ну, коль так, думал я, и правда есть прогресс и надежда, какие, может быть, более усугубят добром нечетный 2011 год.

А гости явились нежданно-негаданно, свалились, как снег на голову. Наверное, у гостей была своя договоренность, и они явились скопом, все

четверо со своими сумками и пакетами. Татьяна раскладывала на столе весь, горячий и холодный припас, в каком я видел горячую картошку и пышущие пирожки, поджаристые и просто с жару куриные лапки, такие же горячие поджаренные котлеты. Даже хлеб у них был свой.

Мне оставалось только поставить рюмки и сок на любителя. Поставил я на стол и бутылку какого-то красивого аховского вина - кажется, молдавского производства, крепостью в девятнадцать градусов. Такую крепость я встречал редко, какая обычно равнялась семнадцати да восемнадцати единицам. Вино я планировал для себя и рюмку-другую для Ивана. Гости мои, как я знал, вино не признавали и, кажется, говорили: "Пусть его бомжи пьют!". Себя и Ивана я и причислил к бомжам, и ничего — і лпмііос, у нас была отменная закуска.

"Огнетушитель" вина красиво, однако, украшал стол, и он вправду выглядел празднично. Как водится, проводили Старый год, предоставив слово Григорию Ивановичу, какому не терпелось не столько сказать тост, сколько пропустить рюмку "родимой".

Рюмки совсем не были наперстками, а были наши русские граненые стаканы с широким открытым полем для питья. Они вмещали, на мой прикид, как бы не целые жуз грамм.

- Друзья мои, давайте проводим Старый четный десятый год, какой мы прожили в дружбе и согласии! Стол у нас всегда был накрыт, вода в доме есть, свет не отключают - наоборот, осветили главную улицу, на какой хоть иголки собирай. Пенсии нам государство добавляет, добавило и на будущий год, за что рахмет нашей стране и нашему Президенту! Так что пенсионеры теперь могут даже пошиковать. Хорошо живут и шикуют наши дети и внуки, какие придают нам жизненную силу. Наши внуки - это мы в молодости, потому и пожелаем им и нам здоровья и всех жизненных благ. Будут они живы и богаты, таковыми будем и мы, их деды и бабки. В наши годы о себе уже не думается, мы свое прожили, а о детях и внуках думать хочется...

За такое пожелание, конечно, ударили, выполняя указание Григория Ивановича: "А теперь давайте ударим!". Закуска была отменной; пригодился и мой сок, каким женщины запивали "родимую".

Выпил с нами и Иван, к какому все подошли и чокнулись своими стопками. После закуси следили за телевизором, ожидая поздравления Президента. Дождались. Прослушали. Умилились, что-то намотали на ус. Тут же дождались, когда часы на телике стали отбивать свои минуты. С последним сигналом чокнулись с Иваном и между собой. Речей не говорили, хотя Татьяна вроде пыталась что-то сказать. И она-сразу же после

Президента успела поздравить всех с Новым годом и пожелала Ивану выздоровления.

А дальше были обычные разговоры и новые тосты. Никакой мечты на Новый год никто не высказывал, кроме выздоровления Ивана и пожелания Ивану выкарабкаться из постели и пошагать по земле своими ногами.

Иван благодарил, закуривал, закусывал и просил у меня еще хотя бы полстопки вина. Я наливал всем, себе вина и Ивану без всякой половины, потому как вино было отменное, и я не думал, что оно может повлиять на то, что инсульт уже сделал.

Около трех ночи послушали поздравления российского президента, выпили за себя и за россиян. Не знаю, какая по счету была эта рюмка, только Гриша сказал, что пора завязывать, поскольку он чувствует себя в отключке. То же самое сказала и Мария, хотя Татьяна не соглашалась. Она была всех нас моложе как бы не на полтора десятка лет, почему и была боезой, по выражению Григория Ивановича, как электровеник. Татьяна оставалась красивой, привлекательной, не полнеющей, к тому же, умела хорошо говорить, мыслить и петь.

По желанию гостей мы выпили на посошок, и я выпроводил гостей как бы не в четыре утра. Братан мой наверняка видел седьмой сон, а я только налаживался. Хотя вино было всего лишь девятнадцатиградусное, но его начинка не позволяла мне ходить по струнке. Меня несколько бросало, за что я вину все равно поставил знак качества, какой существовал при коммунизме.

Все, что было на столе, я накрыл большой развернутой газетой, надеясь на завтрашний день все это приговорить к казни, поскольку гости обещали на завтра повторить свой визит. Глубинка делать это могла, это было ее естество, что отличает ее от городского бытия: город все-таки признавал какую-то умеренность, наша же глубинка жила живой открытой жизнью, не умела скрывать своих желаний, страстей и эмоций.

В комнате у меня было по-хорошему тепло, поскольку я днем крепко кочегарил свою домну самым отборным углем. Под доброе тепло и первую новогоднюю ночь я, видать, заснул сном праведника.

ГЛАВА 3

Еще с вечера я настроил себя на святое утро, какое надо было встретить пораньше и сделать кое-какие дела до прихода вчерашних гостей, обещавших нагрянуть на первое число не с первыми петухами, но и без задержек.

Первый день Нового года оставить без рюмки не в традициях русского и советского человека, потому за дела я взялся и впрямь спозаранку. Прежде всего, почистил мою домну времен Александра и Арины Родионовны, заложил хорошие щепки и засыпал комковой уголек, какой обычно берег для экстренных случаев. Встречать моих гостей холодной халупой считал недостойным звания настоящего мужчины и настоящего хозяина.

Иван проснулся вместе со мной. Я сводил его на ведро в коридоре, где он без помощи сидел на стойком стуле со спинкой. Руками Иван мог держаться за большую дверную скобу, какую он сам же приспособил в былую бытность к двери оборудованной кладовки, без какой в их Алгабасе не обходился ни один порядочный хозяин.

А вчерашние гости не заставили себя ждать — появились сразу все своей четверкой и снова с пакетами и закусью. При нынешней мобильной связи договориться обо всем не составляет труда, что, видно, и было сделано. Татьяна занималась закуской, что-то раскладывала по тарелкам и блюдам, резала селедку и еще какие-то деликатесы. Рюмки на столе остались вчерашние, никто их не мыл и не полоскал. О прошедшей ночи говорили лишь одно: спали, как убитые, а утром головушка требовала поправки "родимой", а организм чего-то горячего - супа, чая, кофе.

Опять пили водочку, а мы с Иваном допивали наш молдавский "огне-тушитель". Смакуя вино, я подумал: умеют молдаване делать добрые напитки, какие, может, даже сплавляют за рубеж. Зарубежье, как покзывала практика, падко на добрый выпивон, за какой не жалеет никаких денег. Выпивон, конечно, окупается всюду, поскольку сухого закона мир не знает, кроме нескольких арабских стран, где Аллах выпивон не приветствует. У нас же в стране мы с Аллахом на короткой ноге, друг друга понимаем, и конфликтов, доводящих до военной сферы, у нас нет и, кажется, не было.

А все потому, что мы дышим цивилизацией; цивилизованным стал и наш Аллах. Арабы до этого додуматься не могут, потому что у них извечные конфликты с властью, с нацией, с племенами, между собою. А умели бы арабы жить русским манером, у них точно были бы мир и дружба. Трезвый ум не всегда рождает трезвые мысли - это замечено жизнью, мудрецами и нами, СНГэвцами, видно даже издавека.

Наша дружная пятерка кучковалась и последующие два дня таким же образом. по поводу чего Маша сказала: пора бы и завязывать, поскольку они люди свободные, но не свободен я, обремененный больным братаном, за каким нужен крепкий уход и догляд. На том и порешили и коллективно поддержали Машину инициативу - завязать до старого Нового года, какой русским человеком отмечался испокон. Не упустим такого случая и мы, наследники прошлых традиций!

Гостей я проводил как нельзя более любезно, сказав на прощанье, что своим появлением они влили своеобразный бальзам бодрости и надежды на хорошее будущее со мною и с Иваном. Без них мне будет скучно и одиноко: они умеют приносить с собой наш живой русский дух, какой просто продлевает жизнь.

За минувший год я много потерял из своей жизни, это я чувствую по себе и по своему здоровью. Можно только представлять, как я в свои семьдесят пять занимаюсь уходом за братом, готовлю еду и топлю домну, хожу по магазинам и в аптеку, одеваю его, вожусь с грязной посудой, кастрюлями и сковородкой, встречаю сигнал газовика и покупаю баллоны с газом. С курами мы покончили, как с врагами народа, и это хоть как-то да освободило мне руки на другие дела: зимой - борьба со снегом, какой в степном Алгабасе находит себе простор в наметах и сугробах; по весне - борьба с паводком, с мокрым снегом и лужами, подступающими к самому псрогу, не дающими пройти медикам в сапогах.

От системы и уколов медики не отказывались ни в какое время года, и это что-то да приносило благодное в здоровье моего братана. Все их рекомендации я выполнял безукоризненно, но Тарзаном Иван не выглядел. Памперсы я по-прежнему одевал на него для страховки, поскольку человек спит, а организм его работает. В какую сторону пойдет его работа - не представлял, потому памперсы я на брата все-таки одевал. Бывали они сухими неделями, потом я спроваживал их на помойку.

Жизнь отнимало у меня и препровождение брата на отхожее ведро, какое я не раз намеревался пнуть с футбольной силой, но обстоятельства не позволяли сделать это. Проклинал я и мучительное купание своего мало-подвижного "клиента", но мирился, потому как деваться-то было некуда.

Анатолий был более снисходителен и всю моечную процедуру принимал как обычное купальное действо с мылом, вехотками да мочалками, с большим поллтенцем и доставкой на кровать, где мы облачали брата во все свежее, чистое и отглаженное. Все это хозяйство готовилось у брата дома, а у Ивана получало свою реализацию.

Вот такие были мои дела в первые январские дни Нового года... Поторонний народ ко мне не приходил, кроме соседки Марины, снабжавшей нас в летний и осенний период коровьим молоком, какое мы с Иваном любили икакое нас просто спасало от голода, когда надоедало готовить что-то на плите на плите.

Марина имела две коровы, муж ее шоферил, ну, а шоферы не могли позволить страдать без зимнего корма рогатой скотиняночке. Молока, по всему, у Марины было предостаточно, отчего ей приходилось торговать на местном рынке. Там, на рынке, я и договорился с Мариной о поставке на дом одной трехлитровой банки молока в неделю, какая нас с братом вполне устраивала. Тут же, на рынке, я заплатил Марине авансом за весь молочный месяц. Наверное, немногие делали подобное в этом поселке, что я определил по глазам Марины, когда вручал ей деньги.

Начиная с апреля-мая, даже в святое утро, трехлитровка с молоком стояла у моего порога у закрытой наружной двери. Такая рань объяснялась обычной ранней дойкой и выгоном буренок на пастбище, маршрут каких пролегал как раз по нашей улице Октябрьской, на которой проживала и Марина. Мне оставалось только на оградку повесить пустую банку, какую Марина забирала после возвращения с перегона, где собирался короний сброд под наблюдение и контроль пастуха.

Молоко мы с Иваном любили с детства. "Не будь этого целительного и питательного напитка, - говорил Иван, - не знаю, как бы мы пережили войну". Коровка у нас появилась еще при отце, где-то за год или два до войны, оставалась и в военную годину, и только после Дня Победы, когда мы собирались уезжать, мама сдала нашу кормилицу в аульную управу. какая, может, и пустила ее на бешбармак.

Во время войны, вспоминал Иван, продуктовые карточки не слишком кормили, а к молоку и нужна-то была всего-навсего черствая корка хлеба. Для мамы прокормить рогатую кормилицу не составляло особого труда, поскольку тракторный парк, где мама трудилась, сам же и заготавливал сено для всего скотского поголовья аула, которое базировалось в больших аульных базах, приписанных к Кенбидайкскому совхозу, какой существовал еще со времен коллективизации.

Люди не называли аул Кенбидайком, а величали всегда "совхоз Кенби-

даик". который имел свой тракторный парк, пашни, нивы и большое животноводческое хозяйство из овец, лошадей и верблюдов. Во время войны он поставлял мясо на фронт, и, говорили, совхоз за то даже хвалили в областной газете. Матушка и сама косила это сено на своем тракторе, так что в зиму коровка наша всегда была обеспечена. Как бы ни было, а все, кто держал в ауле коровенку, платили налог в виде топленого масла в каких-то килограммах. Так всю войну люди и платили этот налог и не возникали...

До старого Нового года навещалась к нам медсестра, делала Ивану систему и какие-то уколы прямо в вену, на что я не мог смотреть, отворачивался, но руку Ивана держал. Спрашивала медсестра и об аптечных лекарствах, которые рекомендованы врачом. Я отвечал: все делаю по инструкции. Коль так, отвечала медсестра, можно надеяться на улучшение Иванова здоровья.

В Новом году звонили Ивановы дочери - Наташа из Краснодар и Люба из Беларуси. Иван слушал их, в трубку рыдал, как ребенок, и просил пронести его, пока он еще живой: "Конечно, не близкий свет до казахстанского Степняка, но, дети, я хочу вас увидеть! Самолетом можно добраться и до Китая, а до областного Степняка и подавно".

Я перехватывал у брата трубку и говорил: "Дорогие мои племянницы, ничего сверхъестественного отец от вас не требует - только повидаться, поскольку он вас не видел целых двадцать лет. Отец ваш уже восемь лет без жены, и вы все равно его не навещаете!".

Племянницы ни отцу, ни мне ничего существенного не обещали. И я понял, что они никогда не придут, поскольку знают, что рядом с отцом его братья, которые не дадут ему пропасть.

А мне брат сказал: дочери к нему не придут, даже когда он отбросит копыта, поскольку у них природа матери, с которой он развелся тридцать лет назад из-за ее разврата и пьянки, из-за чего ее лишили всех четырех дочерей, каких растили Иван и бабушка, то есть наша матушка...

Лет десять назад Иван, правда, видел трех своих дочерей на БАМе, куда ездил сам. Сам же и нашел БАМовский поселок Вихоревка, где жили его дочери в ту пору. В родном же поселке дочери не были и правда двадцать лет - молодость понесла их наловлю счастья и чинов. На БАМе каждая делала свою жизнь, находила себя и создавала свою семью. Появившиеся дети, специальность, работа одну из дочерей унесли в Беларусь, другую - в Краснодарский край, а третья так и вовсе предпочла БАМовский мир с его необыкновенным народом, готовым даже жизнь свою

перевернуть вверх дном. У дочери той на БАМе выросли дети, какие, кажется, звезды с неба хватают, но деда никто не навестил ни разу. Вихоревка осталась их Москвой и их столицей, и дела до какого-то примитивного и потустороннего Алгабаса не было, не возникало и не рождалось. БА-Мовская дочь ни разу не предложила отцу переехать к ней на БАМ к жить рядом в здешних краях или в этой же Вихоревке. С квартирами и там не рацгонишься, но местная управа могла бы ей помочь, потому как ее там знают, а значит, могут чем-то потрафить. Ничего подобного дочь не говорила и при личной встрече, отчего Иван вернулся в свой Алгабас, в свой дом, где были огороδικ, сарай, друзья и верный Пират, служивший своему хозяину с самого своего щенячьего возраста.

Во все дни перед старым Новым годом, после всех мероприятий с печью, золой, углем да дровишками, мы ударялись с братом в картишки на "дурака", что Ивана увлекало и отвлекало от его плачевного положения. Он мог сидеть в постели, обложенный подушками, и держать карты в левой руке, пальцы какой до того зашевелились, что могли даже держать карты, какие он доставал правой рукой. После каждого кона карты раздавал все же я, хотя и не оставался "дураком".

В другие пустые часы я читал брату свои стихи разной тематики и характера, о каких брат говорил, что я талант и что в будущем пстомки должны мне поставить памятник, какой стоит Пушкину, Лермонтову, Есенину. Я же смеялся и говорил брату, что из меня поэт, что из Ивана космонавт. Брат не соглашался и говорил, что потомки все равно должны меня оценить.

В дневные часы, когда братан мой после обеда и пары сигарет впадал в забытье и засыпал, я ударялся в чтиво, какое находил в Ивановой книжной свалке. На этот раз под рукой оказался какой-то Сергей Тимофеевич Аксаков, какой родился на восемь лет раньше Пушкина и на целых восемнадцать раньше Гоголя, жил с ними в одни и те же годы и пережил их обоих. О каком-то Аксакове нам говорили еще в девятом классе, но предметно о нем никто ничего не знал, так как его не было в школьной программе. Пушкин, Лермонтов, Гоголь были, а Аксакова не было, кроме мимолетного упоминания нашей учительницы литературы.

Нам говорили, что у Аксакова были хорошие по его времени произведения, как "Семейная хроника" и "Детские годы Багрова-внука", какие ценились современниками Аксакова. Как его поняли потомки, не знаю, потому как ничего из Аксакова не читал и представления не имел о его творчестве и его произведениях.

Как бы ни было, а в Аксакова я ударился потому, что он был современ-

ником Пушкина, Гоголя и других светил русского классицизма. Ударился, потому как хотел-таки знать, как он показывал своих современников, чем они дышали и как воспринимали окружающий их мир. А второе — хотелось познать язык писателя, все-таки я начинающий стихоплет и бумаго-маратель. Аксаков, думаю, не окажется для меня лишним, уж что-то полезное я от него уволеку. Экзамен мне не сдавать, но хоть что-то об Аксакове кадо знать - это как-то повысит культуру интеллигентного человека, живущего в современном цивилизованном веке, тем более, во втором его десятилетии.

Чего я не постиг в молодости, приходится наверстывать в старости. В моей молодости мы, кажется, вообще мало что постигали, потому как много читали о Сталине, о нем же и пели всюду и везде, даже на школьных вечерах. Стихов о Сталине было во всей литературе, и учителя заставляли нас их учить...

Старый Новый год, как и намечали, все-таки состоялся — с тем же составом и тем же возлиянием. Молдавского "огнетушителя" теперь у меня на столе не было, потому как магазинные полки обеднели, отчего пришлось приобретать бомжовский "Талас" где-то в семнадцать градусов.

"Талас" Ивану тоже нравился. Он пил и не возникал, а мне к нему просто добавить было нечего: народ все выпил за праздники, доброго вина я не нашел и брал, что подворачивалось под руку.

После каждой стопки Иван прикладывался к сигарете; мы с Григорием Ивановичем делали то же самое, но уходили из зала на кухню, открывали плиточную вьюшку, спасая тем самым наших женщин от табачного дыма. Ивана, правда, они терпели, но ведь им деваться-то было некуда.

У Ивана, думал я, в его восьмидесятник соображение атрофировалось окончательно, и он врядли подумал о вреде его курева для окружающих. А окружающими и были-то наши три женщины. Он никогда не делал исключения и при живой жене, курил при ней в зале, в спальне, на кухне. Ксения все это терпела и ни разу не упрекнула его о вреде для нее табачного дыма. Она просто уходила в коридор или на кухню, якобы по делам, что Иван и понимал в прямом смысле.

Часам к пятнадцати все, как сговорились, начали собираться домой. Татьяна сказала, что дома у нее дел невпроворот:

- У тебя вот, Роман, вон какая теплынь, потому как ты все время кочегаришь да подбрасываешь уголек, а мою домну надо еще расшуровать, только потом она даст свое тепло...

То же самое сказали и Маша с Григорием Ивановичем. Напоследок посидели, выпили на посошок; гости поблагодарили меня за гостеприим-

ство, за закусон, сок и чай, какой я умел готовить классно, истинно показавски. Ну, это все оттого, что я все-таки родился в своем ауле Кенбидаик, а аульчане чай умеют готовить классно не только в Кенбидаике, но и по всей республике.

На прочие дни встреч не намечали, да и не предвиделось ни единой заметной даты.

-Если только на Крещение встретиться, - сказала Татьяна. - Но кто знает, какие будут крещенские морозы? Может, такие придавят, что у печи придется сидеть, как у постели больного...

Словом, время покажет.

ГЛАВА 4

На старый Новый год мой брат Анатолий из Степняка не приехал, мотивируя свою задержку разными домашними делами, накопанными женой и детьми. По-другому брат сказать и не мог, потому как дела эти и сегодня пинал бы, как футбольный мяч, - со злостью.

Приехал брат мой на крещенские морозы, поухаживал за старшим, а Татьяна так пригласила нас в свою классическую баньку, сработанную еще покойным мужем. Муж руки имел золотые, отчего и вещи делал классные. Баньку она затопила для сыновей, те уже помылись и ушли, а вода и пар остались, каких просто жалко было бросать.

Приглашением Татьяны мы воспользовались. Париться веничком я любил, любил хорошо поддать парку, чего брательник мой не выносил и уходил в предбанник. После баньки я чувствовал себя истинно восемнадцатилетним. Брат же веник не признавал, не признавал и хороший пар, мылся обычной водой и обычным мылом, а веником хлопался просто так, без пара, но ему хватало и обычного банного тепла. Брат говорил, что такое мытье его устраивает — все-таки лучше городской ванны, в какой лежишь распластанным бревном и не чувствуешь никакого ощущения приятности и широты своей души, лежишь и откисаешь от грязи и вечного пота.

После баньки Татьяна предложила нам по жуз грамм, эти самые суворовские, но мы вежливо отказались. Татьяна не настаивала, зная, чему подвергся после такого банного стопарика наш старшой.

Иван поздравил нас с легким паром и сказал, что все равно не мешало бы нам, братанам, после баньки, правда, немного остынув, ударить по хорошей рюмке коньячка, какой взбодрит и придаст нам силы. Но сначала надо остыть, потому как тело сейчас расширено, сердце, легкие, почки, сосуды все дышат свободным воздухом, а не банным, а потому надо дать им прийти в форму, после чего можно и нужно приложиться к стопарику.

Стопарь после баньки не нами придуман, потому нарушать традиции не следует. Его же insult получен по неграмотности: надо было после баньки и правда отдохнуть часок-другой, а там организм пришел бы в обычную норму, и стопарь-другой "родимой" ничего бы не сделал, как не делал он все годы до этого. Была же у нас норма - "пузырь" на троих, на двоих, а на троих

"пузырь" шел так за милую душу. И ничего, носом не пахали, душа пела, и хотелось любить. Так что братанам ударить коньячку не повредит!

Мы с Анатолием и собирались сделать это без всяких рекомендаций, но после отдыха, игнорируя предупреждения медиков и всякие инсульты, какие медики называли апоплексией, результатом какой бывает внезапный паралич тела, но в первую очередь головного мозга, какой отключает от жизни какие-то части тела, что с братаном и случилось.

По стопарю с Анатолием коньячка мы ударили, преподнесли рюмку и старшему, какой выпил ее с удовольствием и с удовольствием же закусил колбасой "Докторская оригинальная". Оригинальность ее была, наверное. в том, что она была чистой без крупинки сала или какого-то жира, а почему докторская, так это, видно, известно лишь производителям.

После одного стопарика мы с братаном ударили и по второй стопке, хорошо закусывали и прокатывались на классическом чае, какой побуждал нас к следующей рюмке. В итоге нашего послебанного застолья бутылку коньяка мы уничтожили, как врага народа, после чего я достал из заначки другой коньячок, но в плоском "пузыре" в 250 граммов. Брат удивился такой щедрости и моей находчивости.

Этим граммам мы тоже "приделали ноги", дав попробовать и старшему, какой коньячок в свое былое время видел только на витрине, но разоряться на него никогда не отваживался: сам или вскладчину разорился на обычную "родимую", сродни прежнему "коленвалу", какой исчез вместе с СССР. Коньячок и правда был отменным, о каком я говорил брату: может, повторим?

- На сегодня, братан, хватит, — отвечал Анатолий. - А завтра - что Бог даст. Лишнее не пойдет на пользу, как все, что мы делаем лишнее. Надо все в меру, о чем говорил и Неру, но ведь надо и досыта, как говорил Никита.

Посмеялись, конечно, и в магазин не пошли, оставив все на завтрашний день...

В феврале бурило и морозило, что заставляло меня крутиться возле печи дольше обычного. Медики приходили и в этом месяце, делали свое дело системой и уколами и находили в здоровье Ивана прогресс: пальцы левой руки шевелились, двигалась и левая нога. По комнате мы меряли наши десятки метров, какие к концу февраля перевалили уже за сотню. Пять метров от кровати до окна и обратно дапали за один круг десять метров, а сотня так укладывалась в десять кругов. Мы считали, что это прогресс. и если дальше так все пойдет с таким же успехом, то к весне-лету мы сможем с братаном ходить даже по нашему обширному двору.

В марте, а именно седьмого, вновь приехал Анатолий из своего Степняка.

Седьмое марта братан не мог пропустить, зная, что в этот день я родился и в 2011-ом мне исполнится семьдесят четыре.

Конечно, ударили по коньячку, налили стопарь и Ивану. Пропустить такой день было бы для него кровной обидой, чего допустить мы не могли. По телефону поздравила меня с днем ангела и моя Гульчатай, какая желала здоровья и всех благ. За мое здоровье она выпила крепкого чаю и просила Бога, чтоб послал он Ивану выздоровление.

Я рассказал жене о некотором прогрессе в здоровье братана. Если все так пойдет и дальше, то к лету многое может измениться к лучшему, о чем и врачи говорят. Но брат без поддержки самостоятельно не может сделать и сантиметра, быть возле него придется мне еще долго. Конечно, всеми движениями человека руководит мозг, а по нему, как говорят врачи, инсульт и ударил.

В последнее время я щипал левую ногу Ивана и крутил его пальцы на ногах, от чего Иван чувствовал боль, и мы даже радовались этому: раз нога чувствует боль, значит, она не атрофирована и есть надежда на ее выздоровление в будущем. Сейчас еще не время, но будущее вроде обещает быть к нам благосклонным.

С такими мыслями я намеревался позвонить дочерям Ивана, чтоб хоть кто-то из них принял отца на постоянное место жительства. Приезжать за отцом не следует, потому как я сам доставлю его самолетом, а там они должны просто встретить его на машине и отправить домой по своему маршруту. В их городах, может, и лечение будет более эффективное, потому как это все-таки город, а не глухая глубинка, куда врачей тянут не иначе как на вожжах. Нынче все рвутся в города и городишки, а если не удастся, то бросают свою медицину и ударяются в торговлю и в какие-то другие области жизнедеятельности, где хоть как-то да платят.

Скажу дочерям, что я уже и так потерял полтора года своей жизни, удаляясь от жены, друзей и от своего поселка, к какому я привык, какой люблю и какому отдал полста лет своей жизни. Они же дочери, обязаны отца видеть у себя, быть с ним рядом и, может, даже закрыть ему глаза - все-таки ему уже семьдесят один, а это возраст.

Вот так скажу, а там пусть дочери его сами кумекают, как им поступать. Коль есть у них дочерняя совесть, то решатся на приезд отца, а если таковой нет, то Бог им судья. Судиться с ними я не буду, о чем сказал брату Анатолию, какой поддержал меня и сказал, что заменить он меня сможет только в 2014-ом, когда ему исполнится шестьдесят три и он уйдет на заслуженный. "Но до этого четырнадцатого, брат, надо пахать и напахать целых три года, когда тебе стукнет аж две семерки, а мне только три года седьмого".

Две семерки... Черт возьми, дотяну ли я до них? Шестьдесят три — это же

мужик в самом соку, а я в свои семь и семь пригожусь в доме, как старый истрепанный медведь в рост первоклассника, какого мы покупали нашей внучке, именно когда она пошла в первый класс. К чему я пригиден? Сходить в магазин за хлебом и минералкой? Да таких и своя собственная бабка не любит и, может, даже молит Бога, чтобы он побыстрее прибрал его к себе...

На другой день после моего дня ангела я позвонил Гульчатай и поздравил ее с женским днем, с пожеланиями ей здоровья и всех благ. Гульчатай благодарила и сказала, что поздравляли ее с днем 8 Марта дети и внуки, особенно внучка Марина, какую баба растила, пеленала, купала и отправляла в садик, а потом и в школу. Внучка это помнила и просто обожала свою бабу. Словом, Гульчатай довольна всеми поздравлениями, какие пришли от всей нашей родни- ее сестер, племянников и племянниц.

В том же марте, но уже 25-го числа, звонил в свой Жанадыр и поздравил Гульчатай с ее 72-летием.

- Подарить, - кричал я в трубку, - мне тебе нечего, потому как не знаю чего, хотя есть за что!

- Какие подарки, Азамат Аскаревич? - кричала в трубку Гульчатай. - В наши-то годы не о подарках должна быть речь, поскольку за пятьдесят лет жизни вдвоем мы надели друг другу с маленький Алатау. В молодости были и кольца, и цепочки, и медальоны, ато и вовсе ничего, так что давай, Бузумбай, успокоимся!

Жена благодарила за поздравления, а домая все равно спросил бы: чего тебе, Гульжан-апа, все-таки надо? Сапожки, туфли, колготки она покупала сама на свой вкус и выбор, примеряла их в магазине; я оставался лишь свидетелем и даже не платил, поскольку к деньгам никогда не имел отношения, всю жизнь отдавал ей зарплату, премии и даже мизерные гонорары за свои материалы в газетах, в какие я все-таки пописывал. Писать любил, жена это знала и не препятствовала мне ни в молодости, ни теперь, в мои хоттабычевские годы. Теперь писаниной я занимался как бы не всеми ночами, почему — не знаю, только днем мысли не приходили и ничего путевого в мозгу не заворачивалось. "Ну, - говорила жена, - пенсионеры, наверное, все притыренные, что им можно простить. Тебя я тоже прощаю, Азамат, поскольку ты уходишь в зал, включаешь свою настольную светилку и никому не мешаешь".

Пролетели и апрель с маем, какие в целом мне ничего не дали, кроме борьбы с наводнением, с водой и паводком, какой приходилось отводить от порога и вообще со всего двора. Землю долбил ломом, кайлом и острой лопатой, делал канавы и борозды и с водой управлялся по-стахановски.

Солнце делало доброе дело — светило, грело и даже припекало. Вскорости во дворе появилась первая долгожданная зелень, какую я приветствовал и

надеялся на щедрые весенние дни, когда смогу выводить на широкую лавку во дворе брата Ивана.

Он радовался весне, солнцу и соседям, какие, проходя мимо, здоровались, останавливались и даже присаживались рядом. Брат от этого веселел, светлел, говорил с друзьями и забывал о своем недомогании. Во дворе мы умудрились сделать пару-тройку кругов от двери дома до двери сарая, что составляло около двадцати метров в один конец.

Достижение Иван делал архисуперное, после какого мы с братом светлели и в душе имели свою надежду: Иван - выйти из недвижности, встать на ноги и уже здоровым побывать на родине, до какой езды два-три часа автобусом. Кенбидаик отстоял от железной дороги не более чем за сотню верст, так что спасти его мог только автотранспорт.

Я же имел свои желания, но не верил в их исполнение. В нечетный год я не верил и не думал, что он сможет принести мне какое-то облегчение. Если бы Иван сделал хоть один сантиметр без поддержки, я бы даже сплясал бы от радости, но такое не происходило, и Ивана я продолжал водить под руки и смотрел на жизнь не меньше как со злостью. Я видел в ней больше негатива и несчастий для человека. Зачем она принесла страдания сразу трем людям - Ивану, мне и моей Гульчатай, вынужденной при живом муже жить без мужа, без мужской помощи, без его советов, без его голоса и без его глаз?

Гульчатай самой приходится утаскивать из квартиры пустой газовый баллон и приносить из сарая полный, затаскивать на второй этаж, смотреть и менять резинки, напяливая на них злополучный редуктор, который не всегда хорошо примащивает, потому как при открытии рычажком газ шипит, что требует новой приладки. У меня все это получалось быстро, красиво и надежно; у нее же были извечные неурядицы с этим чертовым редуктором и газовыми баллонами.

В неурядицах с баллонами жена звонила газовикам, и те все делали, как положено, за что Гульчатай моя в знак благодарности совала им двухсотку, от какой никто ни разу не отказался, придерживаясь известного: дают - бери, бьют - беги. При мне "сталинградской битвы" с баллонами никогда не случалось, и двести тенге оставались в моем кармане. Полтора же года без меня мою жену затерзали, и я просто проклинал жизнь, упрекая ее в том, зачем ей все это нужно. Живут же другие без Чп и приключений, радуются жизни и новой весне, первой зелени и своим первым весенним желаниям...

Проходивший мимо нашего дома сосед Кульжан Тутешев так говорил мне, что по весне он нашел хорошую работу » Алҭабасском зелентресте, и те-

перь его жизнь по-настоящему стабилизируется. В других местах не брали. Чем не жаловал их новый работник?

- Требовали, чтоб у меня обязательно была машина. Для чего, говорю? Специфика работы того требует, отвечали. А где я возьму эту машину, когда моя Гульчатай нигде не работает и трое детей под стол пешком ходят? Хорошо, в зелентресте нашлись порядочные люди, какие вошли в мое положение. Я так обрадовался, что стал работать и в выходные дни. Руководитель организации прознал об этом и спросил: мало ли мне зарплаты? Так не за деньги я стараюсь, а за производство, лишь бы ему было это выгодно, а мне, молодому, куда силы девать? Не надо мне платить за выходные, это же не всегда, а к концу месяца, когда надо нагонять план. Для производства хорошо, и моя тут благодарность за то, что я работаю. Начальник похвалил, но сказал, что выходные даются человеку для отдыха, хотя в тебе и кипит молодость. Есть все-таки на земле хорошие люди, один из них как раз и есть мой шеф!

- Рад за тебя, Кульжан Тутешулы, за тебя и твоего шефа. Хорошие люди на земле еще не перевелись, земля их любит и, наверное, будет рожать их и впредь!..

В другой раз к Ивану подсел сосед Жаксылык, с каким они были дружны и даже работали в одной организации водоснабжения. Водоснабжение это находилось где-то в городе, а филиалы его так в больших населенных пунктах, одним из каких и был Алгабас. Иван и Жаксылык жили на заимке Карабай, заведовали двумя скважинами и четырьмя мощными насосами, качавшими вкусную артезианскую воду в пятидесятилетний Карабас. Государство пошло на такие расходы как бы не во время войны или же сразу после нее, потому как пятикилометровый водопровод прокладывали пленные немцы и японцы; они же возвели и мощную высотную кирпичную водокачку с пятиэтажный дом, из какой водовозки брали воду и развозили потребителям. Были в поселке и водозаборные колонки, какие работали и теперь, но они были огорожены какими-то контейнерами подзамком, отчего вода отпускалась по времени. Работа у них, по сути, была не бей лежащего, но и ответственная одновременно: не дать по какой-то причине воду в поселок считалось большим ЧП, чего работники заимки допустить не могли, поскольку это ЧП считалось происшествием не только областного, но и республиканского масштаба. Такого друга допустить не могли, отчего приходили контролировать работу всей системы в ночное время по очереди или по договоренности. Годы те были коммунистические, какие помянутся и теперь в свою пенсионную эпоху, когда годы, бывает, многое смеют с человеческой памяти.

ГЛАВА 5

Лето мы с Иваном больше проводили на улице, умудрялись делать по четыре-пять кругов, какие складывались в хорошие метры. Обедали с братаном тоже на улице, где стояла у дровяного сарая кровать на панцирной сетке и из досок обычный столик без ножек; доски же строганные, какие я накрывал какой-то чистой тряпкой, ничуть не схожей со скатертью. Тряпка, каких в доме было еще со времен его жены, напоминала то резаную простыню, то вырезку какого-то детского покрывала. В другой раз я накрывал наш импровизированный стол обычной большой газетой.

Питались мы с братаном неплохо, бывало и по-русски - с чаркой "родимой". Коль пил сам, не мог отказать и братану. Что ж, думал, insult свое дело уже сделал, а больше ему в Ивановом здоровье делать просто нечего. Ходить он ходит, но с помощью, а это все равно прогресс. После обеда и нескольких сигарет Иван тут же на кровати и засыпал, благо что все для сна я готовил заранее. Это "заранее" не заносилось в дом все красное лето, и только при дожде я все убирал и заносил в сени; с хорошей погодой все повторялось сызнова.

Делали медики свои процедуры с Иваном, бывало, прямо на улице, говорили, что это хорошо, когда на свежем воздухе. В квартире они все равно ощущали табачный дым, что не приветствовали. Рекомендовали и какую-то мазь, какой я должен был растирать Ивановы ноги и делать заодно массаж. Я его и делал, мучился, уставал и просил даже Бога взять к себе больного Ивана и меня, семидесятилетнего дедугана. Слышал ли меня Бог — не знаю, только Иван в здоровье не прибавлял, а я, напротив, мог прыгать, как козел.

Когда Иван проваливался в свои сны, заниматься мне в целом было нечем. Июльское и августовское солнце припекало и делало свое доброе дело, наваливая на меня свободное время, какого у меня летом было невпроворот. Зимой — другое дело, а летом... Молил о том Аллаха и присаживался за дневник.

Ну с кем мне поделиться моими мыслями и всеми моими горестями? Брат Анатолий все это видит и знает, Гульчатая знает из моих слов, а соседям, как я понял, просто барибер: ну, сидит больной старикан, ну, ходит

с подмогой, так это же его восемьдесят виноваты! Когда был моложе, ничего же не подступало к нему, а в восемьдесят к человеку может прицепиться всякое и даже та самая, что с косою приходит... Такие разговоры я слышал от друзей Ивана и думал, что они в чем-то да правы. Немногие у нас в стране, и в мире дотягивают до восьми десятков. Ленин во сколько умер? В пятьдесят четыре, Сталин - в семьдесят четыре, а всякие великие ученые да конструкторы космических кораблей едва за шестидесятник докатываются. Нет, годы все-таки свое берут. Есть, конечно, отчаянные, как Лев Толстой, какой за восьмидесятку протянул: при его умственной работе писатели едва до шестидесятника дотягивают. Аксаков, правда, не сумел двух лет дотянуть до своей семерки с нулем, а Чаадаев так едва уложился в шестидесятник, прихватив там несчастные лишние два года.

Вообще, если посмотреть на современных писателей и прошлых, никто из них крепко не зажил, потому как всей деятельностью человека руководит все-таки ум, человеческий мозг. Ну, а если его напрягать постоянно, то он ведь может и устать и где-то отказать в своей работе. Конечно, у брата моего другой коленкор, только он его затащил уже за восьмерку. Если он выкарабкается из своей недвижности, то, наверно, ему суждено будет протянуть и до восьмерки с пятеркой, а то и далее, под самую девятку. Говорят, такое с кем-то уже бывало...

О себе на этот раз я не думал. А чего думать? Книжные наплывы, правда, донимают, и я в который раз садился за роман. Названия ему не придумал, но он жил в моей голове, жили его герои живые и мертвые, с которыми я учился и работал, делал свою жизнь и даже влезал в чужую, за что только теперь себя осуждаю. Чего лез-то, ишак бухарский? Ну, живет человек, и пусть живет! Что он делает с собой, со своей любовью, с друзьями и со своим временем — его личное дело, когда и своей жизни не мог дать толк. Знаю, было такое лет пятьдесят назад. Сейчас уже нет и тех людей, и тех героев, осталась только память о них.

Память, конечно, дело хорошее, но ведь на память надейся, да сам не плошай. Вот если бы Иван оклемался, было бы хорошо и здорово. Какое-то время я у него еще пожил бы, а там отвез бы самолетом одной из дочерей — пусть они досматривают за ним до гробовой доски. Меня и так поджимают мои семь и пять, до каких осталось всего лишь каких-то семь месяцев. Ладно бы эти семь и пять случились дома 7 марта 2012-го Года Дракона, так ведь мне придется и этот год быть подле брата, и не только быть, а быть его нянькой, купальщиком и поводырем, поваром и массажистом, что, по правде, отнимало у меня полжизни, если не всю ее часть.

Помощь меньшего была в целом липовой, о чем он и сам говорил мне, когда мы купали его, кормили и водили по комнате и по двору. Пробовал мой младший и массаж, и смену памперсов, о чем и сказал, что мне за мои мучения при жизни надо ставить памятник. А я говорил Анатолию, что поставил бы памятник тому, кто вытащил бы брата из этого пекла и поставил бы его на ноги...

Через какие-то полтора месяца исполнится два года, как я с братаном, и пока не видно просвета в конце тоннеля. Что принесет 2012 год — Бог весть, только я от того не стану моложе, красивее и богаче и не стану здоровым, как бык. Дома так я делал зарядку и ежедневно топал свои старческие три-четыре километра с выходом на степные тропки. Как-никак, а бодрость эти километры мне давали: после них мне хорошо думалось и писалось, хорошо дышалось и спалось.

Гульчатай приветствовала зарядку и мои прогулки в ту степь, говоря, что у меня открывается завидный аппетит, что ее радует: коль человек хорошо ест, значит, у него здоровый организм, какому нужны высокие калории. Домашнюю лапшу я сметаю, к салатам не притрагиваюсь, предпочитаю соленую рыбку и вообще все селедочное, какое и придает двойной аппетит. Жена любила, когда я хорошо ел, значит, ее поварское искусство было отменным, о чем я ей часто говорил. Какие-то блюда она черпала из "Смака", и я первым снимал пробу. Похвала жены просто возвышала ее, отчего она начинала суетиться с какими-то новыми блюдами.

Кормить ей предстояло лишь меня, а сама она предпочитала скромные блюда со всякими салатами, на какие я отчего-то никак не падал. Помидорки с огурчиками я еще мог потревожить, но только если они мостились с майонезом. Сметану я отчего-то игнорировал — может, потому как ее не советовала передача Малышевой. Сметана имела свои калории и свой жир, отчего человек может полнеть незаметно, но неукоснительно. Полнеть я не хотел, почему и не хотел начинать свое слоновье брюхо свиным салом, сметаной, коровьим маслом и всякими жирными ингредиентами, какими наш стол бывает просто завален. Хозяйка перед гостями, бывает, хочет показаться щедрой и ставит на стол все, чем богаты магазинные прилавки, а они у нас нынче никак не страдают бедностью...

Сентябрь я посвятил поиску и доставке на мои квартиры угля и дровишек. Что удивительно, отлучаться мне из дому не пришлось: "ЗИЛы" да "КамАЗы" сами подъезжали к оградке, и шоферы кричали, не нужно ли угля и дровишек. Уголь и дрова тут же сгружались, я расплавивался, и мы с шофером расставались, довольные друг другом. Последующие дни я растаскивал все топливо по их складам, какими служили для угля метал-

личный короб, а для дров - простая сараюшка величиной с кабину "Ка-МАЗа". Брат наблюдал за моей работой и серьезно рыдал в своей беспомощности.

Со всеми угольными и дровяными делами я справлялся в течение недели, так что в целом не уставал. Шесть тонн перетаскивать за неделю - да это и пацану под силу, а Хоттабычу, думаю, и подавно. Иван жалел меня и проклинал свою болезнь самым отборным матом, какой не только не пишется, но и не произносится даже в самых пьяных компаниях. Иван же умел это делать просто классически, отчего я даже пытался хоть что-то запомнить из его классического мата. Рассказал Анатолию, мы смеялись и в чем-то жалели старшего.

В октябре мы с братом переселились в наш восемнадцатиметровый зал. В целом ничего особенного в нашей жизни не изменилось, разве что мы перестали мерить по комнате наши метры, от каких брат, по его словам, стал уставать. Про себя я где-то помолился: отпало хоть одно лечебное действие, какое утомляло и меня. Летние метры мы врачам не афишировали, а, наверное, надо было бы спросить, правильно ли мы делаем, измеряя целые десятки метров. Может, в этом деле есть ограничения ?. Инсульт — он и в Африке инсульт, и какого ему черта надо, толком никто сказать не может. Может, больше необходим покой?

Как бы то ни было, лето минуло, хождения наши стали забываться, и в октябре я закочегарил свою домну. Дрова и уголек не возникали после долгого ее молчания, печь гудела, дрова и уголь схватывались, не выпуская из выюшек ни одной дыминки. В прежние годы дым донимал меня, и я боролся с ним, как с врагом народа; теперь же все шло слаженно. А прежде, наверное, виной были сырые дрова и экибастузский уголь. В последующие годы я стал покупать уголек только шебаркульский, а дрова летом выбрасывал на солнцепек, так что за лето они трещали даже в руках, а не только в печи, с какой мы в последние годы дружили, и я даже выдраил колосники.

Ноябрь и декабрь уходящего года где-то примораживали, а где-то отпускало до теплых дней, и печь моя не кочегарилась дополнительным угольком, за каким надо было топтать через весь двор к метадлической халабуде. В комнате у меня было тепло, а на кухне так вовсе отдавало Африкой, отчего приходилось ее проветривать, открывая дверь в коридор. Зал прикрывался дверью, а на кухне я создавал умеренную температуру.

Накануне Нового года — как говорили календари, Года Дракона - приходили ко мне Григорий Иванович и Маша, заглядывали и Татьяна с Галиной. Приходили просто так, посидеть да прозондировать, как пашет

моя кирпичная "грелка", какая у них с началом отопительного сезона по-своему бесилась, дымила и не хотела гореть, греть и оправдывать свое назначение. За разговорами ударяли и по стопке, какие наполняли пол-литровый" пузырь"и плоский "прицеп" — чекушка. Закуска у меня была не ахти, не помещицья, но сало и колбаса у меня водились.

Беседа была дружеской и непринужденной. Новый год решили встретить по старой традиции - у меня. В целом им-то идти некуда: Маша с Гришей-то вдвоем неимоверно скучно, Татьяна одна и Галина одна, им вообще требуется мужское общество. Без мужчин по сути-то и жизни нет, а под Новый год и подавно. Год Дракона так обещает быть сильным и роковым; кто знает, каким он будет для страны и для человечества. Хотелось, чтобы для Алгабаса он остался доходным, безболезненным, многосвадебным деторожденным, а для пенсионеров - чтобы о них просто не забывали. Не забывали медики, социальные работники, прочие власти, которые должны знать, как живут пенсионеры, чем они отапливаются, кто им поставляет уголек и дровишки... Словом, знать о своих пенсионерах Алгабас должен все, знать и помогать им доживать их век, потому как многие из них по сорок и более лет отдали производству, а значит, своей стране. Ведь многие из них работали до войны и в войну, после войны трудно восстанавливали свою страну, где на производствах были часто исключительно женщины. Так что, говорила Татьяна, Год Дракона и встретить надо по-драконовски - хорошо ударить, хорошо посидеть и хорошо попеть "Шумел камыш, деревья гнулись".

На деле все так и получалось, как планировали. Как и в прежние годы, слушали поздравления казахстанского и российского президентов, выпивали за их здоровье и за свое собственное, пожелали Ивану вообще бросить костыли и в Новом году самому ходить по Алгабасу без посторонней помощи. Иван благодарил и говорил; "На все воля Божья!". Наливали и Ивану,но через одну,сами же за счетом. Коньяк катился без задержек, обладая своим вкусом и притягательностью.

Татьяна сказала, что на этот раз решили не жмотиться, а развернуться и ударить по-ельцински, какой вряд ли пил простую "родимую", на какую падо любой бомж и у кого не звенит в кармане. С меня никакой складчины не требовали, да я и не знал об их новогодних приготовлениях. Конечно, втихаря я запасался спиртным, где как раз и делал предпочтение коньяку трех и пяти звездочек — перед праздником продавался и такой, экстренный" в своем роде, производства другой страны. Конечно, на коньяк , крепко разорялся, но и Год Дракона должен был остаться памятным.

Гостевой коньяк мы приговорили к казни до наступления российского Нового года, шумно говорили и, наверное, соображали, где бы достать еще один "пузырек", какой не иначе как явился бы даром небесным. Я видел, во всех у нас русский дух и Русью пахнет, а русский мужик всегда был находчив. Гриша отлучился на минуту до вешалки и поставил на стол "пузырь" "белой", но в квадратной емкости. Все ахнули, вздохнули, зашевелились, потрепали друг друга за плечи, а Маша так даже расцеловала Григория Ивановича.

Я подумал: "Сейчас принесу свой коньяк, меня так расцеловать кто-нибудь из наших трех леди расщедрится?". Поставил пятизвездочный. Григорий Иванович так обнял, а Галина с Татьяной приложились к моим щекам с обеих сторон сразу.

Дальше все повторялось, как и в прошлый год: беседовали, шумели, вспоминали молодость, даже детство и рассказывали, кто что помнил. Что-то рассказывал и я, и даже Иван выдал некие подробности из своей прежней жизни, когда пацанвой собирали окурки и заворачивали свои "козьи ножки".

Григорий Иванович тоже помнил таковые, какие надо было хоть кому-то снять и сохранить на память. Сейчас такие "козьи ножки" не увидишь и в какой картине, а они-то в жизни были, и мужики их курили и оставались довольными. Крутят разные кинокартины чуть ли не круглосуточно, смолят всякое курево, а вот "козьей ножки" нигде не встречается. Может, се знала только отсталая глубинка, какая не имела представления, что такое железная дорога, паровоз и что такое государственные папиросы, как "Беломорканал", "Прибой", "Норд". Глубинка курила самосад, а интеллигенция умудрялась где-то доставать классическое курево, на какое мы, пацанва, только смотрели.

Песни в нашем застолье были и на этот раз, только теперь я сопровождал их на баяне. Хороший, шестирядный, в басовой партии оставался у меня дома, а этот, старенький, привез мне Анатолий, какой я подарил ему, когда он ходил в первый или во второй класс. Баян сохранился до сих пор, поскольку я на братаново пятидесятилетие подарил отменный баян, какой служит ему и теперь. Эту растрепайку я иногда растягивал, Иван слушал и умилялся, как слушал и теперь.

Конечно, баян этот годился не более как печку раздувать, но голос у него был, и мы пользовались его звучанием. Татьяна вообще хорошо пела и знала хорошие песни из репертуара Ольги Воронец и Людмилы Зыкиной, пела она что-то и из Майи Кристалинской. Она запевала, и я тут же подхватывал. Сыгранность получалась чуть ли не артистическая, кто знал

Гостевой коньяк мы приговорили к казни до наступления российского Нового года, шумно говорили и, наверное, соображали, где бы достать еще один "пузырек", какой не иначе как явился бы даром небесным. Я видел, во всех у нас русский дух и Русью пахнет, а русский мужик всегда был находчив. Гриша отлучился на минуту до вешалки и поставил на стол "пузырь" "белой", но в квадратной емкости. Все ахнули, вздохнули, защевелились, потрепали друг друга за плечи, а Маша так даже расцеловала Григория Ивановича.

Я подумал: "Сейчас принесу свой коньяк, меня так расцеловать кто-нибудь из наших трех леди расщедрится?". Поставил пятизвездочный. Григорий Иванович так обнял, а Галина с Татьяной приложились моим щекам с обеих сторон сразу.

Дальше все повторялось, как и в прошлый год: беседовали, шумели, вспоминали молодость, даже детство и рассказывали, кто что помнил. Что-то рассказывал и я, и даже Иван выдал некие подробности из своей прежней жизни, когда пацанвой собирали окурки и заворачивали свои "козьи ножки".

Григорий Иванович тоже помнил таковые, какие надо было хоть кому-то снять и сохранить на память. Сейчас такие "козьи ножки" не увидишь и в какой картине, а они-то в жизни были, и мужики их курили и оставались довольными. Крутят разные кинокартины чуть ли не круглосуточно, смолят вся кое курево, а вот "козьею ножки" нигде не встречается. Может, ее знала только отсталая глубинка, какая не имела представления, что такое железная дорога, паровоз и что такое государственные папиросы, как "Беломорканал", "Прибой", "Норд". Глубинка курила самосад, а интеллигенция умудрялась где-то доставать классическое курево, пл клк», мы, пацанва, только смотрели.

Песни в нашем застолье были и на этот раз, только теперь я сопровождал их на баяне. Хороший, шестирядный, в басовой партии оставался у меня дома, а этот, старенький, привез мне Анатолий, какой я подарил ему, когда он ходил в первый или во второй класс. Баян сохранился до сих пор, поскольку я на братаново пятидесятилетие подарил отменный баян, какой служит ему и теперь. Эту растрепайку я иногда растягивал, Иван слушал и умилялся, как слушал и теперь.

Конечно, баян этот годился не более как печку раздувать, но голос у него был, и мы пользовались его звучанием. Татьяна вообще хорошо пела и знала хорошие песни из репертуара Ольги Воронец и Людмилы Зыкиной, пела она что-то и из Майи Кристалинской. Она запевала, и я тут же подхватывал. Сыгранность получалась чуть ли не артистическая, кто знал

песню - подпевал, а то просто с удовольствием слушал. Галина еще что - то знала из Воронеж и Зыкиной, а Маша понятия не имела об этих певицах.

Трехзвездочный "пузырь" я тоже поставил на стол. "Родимую" Григория Ивановича Маша отставила в сторону, а после и вовсе поместила где то под столом со словами: "На завтра пригодится...".

Конечно, завтра это наступило, но только где-то к двенадцати часам дня, когда мы с Иваном крепко почаевали и на похмелье не ударили по грамма. хотя братан просил. Я сказал: "Дождемся гостей, а там видно будет. Они же обетали и сегодня, в первый день Дракона, сделать хорошее харахири, так что подождем гостей, а там что-то хорошее и нарисуеться". И правда, все нарисовалось, как и намечалось. Я в магазин не ходил, но из-под стола Машин "пузырь" достал. Выпили его и то, что гости принесли с собой; был здесь "пузырь" и трехзвездочного коньячка, ему "ноги приделали" в первую очередь, придавливая напоследок "беленькой". Хорошая закуска спасала от опьянения.

ГЛАВА 6

После Нового года навещала Ивана наша алгабасская медицина. Опять делала свою систему и уколы; проходило время, и на ноги Иван не становился, больше лежал и сидел в своих подушках со спины и боков. Не делала медицина ничего путевого братану ни в феврале, ни с потеплением в марте. Кстати, на седьмое марта приехал мой братан Анатолий, который знал, что в этот Драконовский год мне исполняется семь и пять. О моем дне рождения мои алгабасские друзья понятия не имели, и я вообще не хотел, чтобы они знали: день рождения - это сугубо личное торжество, вторгаться чужим просто не обязательно. Свои родные - другое дело, а ириблудным просто надо быть от них подальше. А с братанами мои семь и пять мы отметили тихо, без помпы, по-братски. Выпили пятизвездочный коньячок, кажется, актюбинского разлива; Ивану налили две стопки грамм по шестьдесят, посчитав, что старику и этого достаточно, остальной бутылке мы сделали харакири. У брата так оказался и коньячный "прицеп" в плоской бутылочке размером с чекушку, какую мы тоже приговорили, налив, однако, и старшему стопку. Подумали: что будет, то и будет, пусть хоть стопка прибавит ему тепла и надежды.

Проводив брата на электричку, я снова остался один на один своими мыслями, с больным братаном и со всеми его мучениями. 25 марта позвонил домой в свой Жанадыр и поздравил свою Гульчу с ее теперь уже семидесятитрехлетием. Желал всего, а она спрашивала: "Надолго ли мне прописано такое наказание, оторвавшее нас друг от друга на два с половиной года?". "Не знаю, дорогая, братан не делает прогресс и даже по комнате прекратил метровые передвижения. Он отчего-то чувствует усталость даже с поддержкой и какую-то одышку. Не хватает воздуха, а значит, надо сидеть или лежать, что он и делает. А в последнее время предпочитает даже спать сидя в своих подушках, отчего у него свободное дыхание и крепче сон...".

Спросил у медиков, что это за наваждение такого рода, на какое они просто пожали плечами и сказали, что об инсульте медицине не все известно. Ложился Иван редко, предпочитая обедать, отдыхать и спать сидя. Памперсы я проклинал, но деваться от них было некуда. В апреле медики сделали свою очередную систему и очередные уколы. Что они давали здо -

ровью, я не понимал, у врачей ничего не спрашивал, все равно, думал, они правды не скажут — это у них в крови.

В майские дни хорошо припекало, и я даже смотался в центральный магазин лоселка. Брат разрешил мне отлучку максимум на час, только просил поставить возле него воду и сигареты, что я и сделал. В летние месяцы, когда он ходил и спал на уличной кровати во дворе, я отлучался на длительные минуты, равные часу и более. Заглядывал в библиотеку, что-то там выбирад и чем-то интересовался, а уж дома коротал ночные и утренние часы, когда не спалось, адумалось о моем житье-бытье и о том, что Год Дракона мне готовит. В настроении писал какую-либо стихотворную подборку и просто отдельные стихи, что и случилось перед самым Днем Победы 9 мая.

Иван спал и не тревожил меня своими потребностями, а на меня накачивало одухотворение, и я прямо в дневнике своем записал: "Алгабас крепко готовится встретить День Победы 9 мая. На площади возле клуба соорудили большую сцену, огородили ее, где, видимо, планируется большое торжество и выступление самодеятельных артистов поселка. Слышал, в Алгабасе они есть, и даже знаменитые на всю область. Хотелось бы их послушать, особенно известного местного баяниста Анатолия Иеске, какого я хорошо знал и какого не раз слышал".

Брат дал мне добро на отлучку со старым своим требованием — су и темек. Ну, воду с куревом я ему оставлял, и стопки в честь Дня Победы, попросил брата послушать, что я написал ночью.

*Ах, война, только зла ты миру вытворяешь,
Сеешь смерть на красивой земле,
Все живое со свету сметаешь,
Ах, война, все проклятья тебе!
Сколько жизней в веках ты сгубила,
Людям горя и слез принесла,
Косу смерти, не прячась, точила,
Кровь людскую морями лила.
И сегодня с косою своею
Ты страдания людям несешь,
Черной смертью и прахом лишь веешь,
Жизнь людскую залогом берешь.
Кто родил тебя, солнце иль боги,
И когда, чтоб проклясть этот век?
Война: "Успокой свою блажь и тревоги,
Породил меня ты, ЧЕЛОВЕК".*

- Ну как, Темиргали Калкенович? У твоего братана шурупит мозга?

- Нет, Калкаман Абдукаримович, ты истинный поэт, и просто непонятно, почему о тебе белый свет не знает. Ну знают же люди Ивана Шухова, Дмитрия Онегина, Олжаса Сулейменова, Сагин-Гирея Байменова, Ольгу Шиленко, Владимира Гундарева, а тебя не знают и не пытаются знать. А все потому, Азамат, что ты живешь в глубинке, не знаешь никаких литературных кружков и объединений, где собираются поэты и делятся своей поэзией и своими мыслями. У нас же ничего этого нет! В городах, конечно, этого добра хватает, а в глубинке не разгонишься.

— Ну, Темирбай, сравнил ты меня с республиканскими, ато и союзными величинами, тогда как я всего лишь обычный Ванька с пивзавода! Эти этихи я кропаю больше для себя: на большие расстояния они не тянут, потому как у литературы своя система и свой творческий дух. Литература жива творчеством, а творчество дается таланту. У меня он, у аульчанина, разве есть таковой? Будь он у меня, так я проявил бы его еще в юные годы, в зрелые тридцать-сорок-пятьдесят-шестьдесят-семьдесят лет так не проявил же, ишак бухарский! И правда, почему не проявил себя в шестьдесят, в шестьдесят пять, в те же семьдесят и в семьдесят пять, наконец? Ну, прорежутся у меня некоторые стихотворные, но они, на мой взгляд, не нужны ни печати, ни стране, ни читателю. Тебе вот, Темиргали, понравились мои стихи о войне, а понравятся ли они печати? Ведь там асы, профессионалы, и простое стихотворение печать должна заменить. Я по этой части тупой, как сибирский валенок, но все равно вижу в этом стихотворении дух осуждения войны, как извечного человеческого горя, человеческого несчастья, войны, изобретенной самим человеком для уничтожения своего собрата-человека. И правда, кто же придумал эту чертову войну? Человек же и придумал. Когда? Да когда он еще был первобытным. Тогда, когда человек строил пирамиды да Колизеи, греческие колесницы и греческую культуру, когда была Троя и Троянская война, были Одиссеи, Гераклы, Аполлоны, Спартак, Александр Македонский. Потом — Дмитрий Донской и Александр Невский, половцы, монгольское иго, Иван Грозный, Пугачев, Стенька Разин, Минин и Пожарский, Суворов, Кутузов, Наполеон. Затем декабристы, революция девятьсот пятого года, Первая мировая, Октябрьский переворот, затем Вторая мировая с пятьюдесятью миллионами человеческих жизней, polegших в разных странах, где побывал фашизм. Потом японская война, Вьетнам, Афганистан... Перечислять можно сколько угодно, и всюду была война и смерти, угробление человеческих жизней. Кто нес эту войну людям? Да человек же и нее! И сам же погибал в этой войне... Парадокс!

Ну, парадоксов в нашей жизни хватает; были они прежде, наваливаются и теперь. Жизнь с этими парадоксами обвинять не стоит, а вот человека следовало бы да покрепче. Человек на какие только пакости не способен! Человек, бывает, такое наворачивает, так перебарщивает, что просто не верится, что такое может сделать живой наш собрат...

После разговора с братом и когда он заснул, сморенный стопкой, сигаретой и ночной бессонницей, я решил в который раз уже обратиться к своему дневнику, какому посвящал потайные мысли. Особых на этот раз вроде не было, но и рядовые просились в строчки.

"И правда, ну с кем поделишься, что было, что есть и что будет? Про себя же думал; а кому это нужно? Дневник - это личное, это глубоко секретное, он никем не читается и никогда не прочитается даже, когда я отброшу копыта. Сжигать его, как Гоголь свои "Мертвые души", я не собираюсь, потому как я и мой дневник нужны свету, как зайцу вытрезвитель.

На деле, если трезво посмотреть, ну кто я такой? Ну, пенсионер, старик долбаный, что по-казахски звучит как зейнеткер и шал. До пенсии сорок лет отдал железной дороге, отдал и не жалею. Почему-то всегда думал, что железная дорога, шахта и мартен пестуют настоящих людей. Они чем-то возвышенны, чем-то сильны, в них, кажется, больше человеческого благородства. Я вот прожил семьдесят пять, а ведь не свихнулся, не спился, не проштрафился и не обленился. Родил сына, дал ему образование, женил, помогал растить их дочку, теперешнюю мою внучку Марину, которая подарила нам двух правнучек.

И правда, почему я должен быть известным, за какие заслуги? Быть известным - значит, надо себя чем-то проявить. А чем я, Рымарь Роман Андреич, проявил себя в своем Жанадыре? Да ничем решительно. На железной дороге все сорок лет я считался рядовым сотрудником, а мои литературные поползновения в газетах ничего для мира не решают, почему я и остаюсь неизвестным не только в своем поселке. Об области и своей республике говорить не стоит, хотя некоторые газеты меня знают - знают как простого писака, каких у нас не счесть. Всплыть бы на поверхность писательского моря какой-нибудь большой вещью - было бы дело, но я то кувыркаюсь на задворках этого моря, почему свет меня не знает. Признаться, всегда удивлялся старому времени, когда свет узнавал даже совсем молодых, вроде Лермонтова, Добролюбова, Валиханова, Николая Островского. Их печать как-то видела, находила и печатала при их еще жизни. А меня кто узнает, кто усекет? В том-то и дело, что талант всегда пробьет себе дорогу, ну, а серость вроде тебя, товарищ Рымарь, так и будет киснуть в своей Тмутаракани.

Конечно, свет не без добрых людей: может случиться такое, что меня кто-то да заметит из пишущей братии. Просто заметит и определит место на каких-то литературных страницах. Говорят, такое в миру уже бывало. Удостоюсь ли я такого счастья - не представляю, только в то я не верю".

ГЛАВА 7

О большом и всегда необычном празднестве Дня Победы алгабасцы знали давно наперед, отчего к одиннадцати утра народ потянулся на площадь у клуба со всех уголков поселка. Получим, і рлтрсіпейше на отлучку и я. но со старым условием. Не знаю, как шла у него мода, а вот сигареты улетучивались с минутными полетами. На площади я встретил и свою старую компанию во главе с Григорием Ивановичем и Татьяной. Григорий Иваиович так щеголял шифоньерным костюмом второй свежести с трудовыми медалями; Маша тоже имела какое-то трудовое отличие, обрамленное красочной планкой. У нас с Татьяной и Галиной никаких наград не имелось, но мы щеголяли какой-то обновой, не одевавшейся месяцами и годами. Дома, правда, у нас у всех были какие-то почетные грамоты и благодарственные письма, каких у меня собралось как бы не половина коробки от покупного телефона, какую моя Гульчатай приспособила под семейные бумаги.

На сцене стоял длинный стол под красной скатертью, а за столом располагались власти Алгабаса с акимом и его замами и четверьмя участниками войны, на груди каких сверкали многочисленные военные и трудовые награды. Один из этих участников, Дарибай Кулжамбеков, по наградам чуть ли не догонял Леонида Ильича, какой обвешипался этими наградами от плеч до пупка.

Дали слово как раз этому Дарибаю Кулжамбекулы, какой на войне с ее начала и со своих девятнадцати лет, был ранен и ногу и плечо, но со своей частью дошел до Берлина. После войны работал на железной дороге, водил паровозами грузовые и пассажирские поезда, с железной дороги и ушел на "дембель". Слава Аллаху за сегодняшний мир, какой мы должны беречь и бороться за него всеми нашими силами!

Выступали и другие вояки, сказал свое слово и аким. Торжественная часть была отменной. Когда стол и стулья проворные парни вынесли на улицу через заднюю стенку, начался концерт, открытый ветеранами концертной группы, состоящей сплошь из пенсионеров. Пели военные песни, а троица молодых парней исполнила залихватскую "Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой". Одна боевая частушечка под ба-

ян Анттолия Иеске спела что-то про любовь и про войну, какая не сумела эту любовь заглушить, притушить и вообще убить. Словом, песни были разные, какие мы не раз слышали в миру и по телевидению.

Задерживаться вне дома мне не следовало, о чем я и сказал Татьяне и Григорию Ивановичу. Не сговариваясь, друзья пошли вместе со мной, говоря, что праздник Победы без стопаря не бывает, когда выпивают за тех, кто воевал и дал нам жизнь, за тех, кто не вернулся, а третью за тех, кто сейчас охраняет наш мир и покой.

Коль такое дело, по дороге мы заговаривались всем необходимым для застолья. Иван не спал и не дремал, воду не пил, а окурков было в пепельнице как раз с маленькую тележку. Старым друзьям Иван необыкновенно обрадовался, повеселел и вроде даже прослезился от умиления и радости.

А Татьяна с Галиной делали стол, к какому Татьяна и пригласила всю нашу компанию. Конечно, произносили разные тосты, пили за наших отцов, какие не вернулись с боев, и за тех, кто сегодня рядом с нами в нашем поселке, являющиеся его гордостью. А о концерте не жалели, потому как нового ничего не было, а старое слышано уже много раз. Конечно, молодым только и осталось оторваться да покуролесить, а старикам нужен дом, покой да праздничная рюмка. Жизнь на том и стоит сегодня, так что не стоит ее обижать холодом и унынием. Подогреть кровинку надо, а это зашевелит сердце и жизнь.

В общем, посидели мы приятно, попели ту же "Три танкиста", выпили по триста, что вылетело из уст Татьяны. Ну, по триста, наверное, ударили и мы, а Ивану так скостили наполовину; он, однако, оставался довольным и даже что-то подпевал из этой песни.

К вечерним часам гости стали собираться домой. Григорий Иванович и Маша сказали, что надо и меру знать. Хотя отопительный сезон и закончился, а все равно надо протопить да изготовить чего-нибудь горяченького жидкого, без чего русский мужик вечно чувствует себя голодным и некормленным.

Проводив гостей, я занялся уборкой со стола, но довести дело до конца не дали новые гости - Жаксылык и Раушан, друзья Ивана по Карабаю. Пригласил гостей за стол, налил им по жуз грамм. Конечно, налил и Ивану, все чокнулись и выпили за День Победы. Налил и по второй, а Раушан поставила на стол румяные баурсаки, какие мы с Иваном страстно любили и в детстве просто росли на них. Вспоминали годы, проведенные на Карабае, где у Раушан родилось сразу двое пацанов, какие теперь уже сами джигиты и какие Карабай помнят.

После проводов и этих гостей мы с братаном набросились на баурсаки

с молоком Марины, какие по вкусноте равнялись божественному блюду. После молока с баурсаками не стали набрасываться на жареный картопан с неизменной к нему килькой: после такого ужина мы с братаном высмолили по сигарете. Пока я убирал со стола, унося все на кухню, Иван успел ударить как бы не третью сигарету. Мои упреки Иван не воспринимал и говорил, что курево на него не влияет: бомжи вон как смолят, а черт же их не берет!

Ну. День Победы как-то останется в нашей с Иваном памяти, как, наверное, и в памяти наших друзей, с кем мы этот день встретили. После всех манипуляций с уборкой стола, делами на кухне с мойкой посуды высветило, наконец, свободное время, какое посвятил я своему дневнику. Братану так вручил пульт от телика, и он ловил свои интересные ему смотриньд а я листал устаревшие страницы и в какой-то момент хотел даже шибануть себя по мозгам увесистым Щедриным, где я штудировал его "Пестрые письма", но воздержался, прикидывая, поможет ли это оставшимся извилинам. Читая свой дневник, не нашел там ни слова о соседской квартире за стеной, вход в какую находился на вытянутую руку от Ивановой двери.

А квартира эта тоже принадлежала Ивану. Он купил ее лет восемь назад у доброго соседа Карсакпая Тутешева. Карсакпай зашел как-то к Ивану по-соседски и прямо выложил: "Ай, Иван-джан, забери мою квартиру по дешевке! У меня в областном центре наклюнулась хорошая работа и хорошее интеллигентное жилье с холодной и горячей водой, с канализацией и газом, так что упустить такой шанс нельзя - жизнь не простит. Пусть будет у тебя две квартиры, поскольку у тебя четыре дочери и их дети. Кто знает, как сложится у них судьба и их жизнь, может, кто-то из них вернется в свой родной Алгабас, где они у тебя родились. Квартирка тебе не будет лишней, ты даже сможешь гордиться таким богатством".

Конечно, квартиру Иван приобрел, оформив ее по все правилам у нотариуса и прочих конторах. Все годы после того она пустовала, но временами Иван в нее заглядывал и просто вытирал пыль со стола и табуреток. Карсакпай не стал забирать с собой обе железные кровати времен как бы не коллективизации; оставил он и старенький стол и несколько табуреток с самодельным шкафчиком в два этажа для тарелок, ложек, поварешек. Что-то лишнее Иван перенес и из своей квартиры: мешали ему старые фуфайки военных лет, две перьевые подушки и два матраса как бы не времен целины.

Когда случился инсульт, Иван в доброй памяти сказал мне, что надо бы обе квартиры отписать мне. Ну, во-первых, дочерям, как он понял, он не нужен, а брат за ним ухаживает, мучается сам и мучается его Гульчатай,

оставленная дома на произвол судьбы на целые уже два года, какие я вожусь с больным братаном, как с малым дитем. Я достоин этих квартир больше всех, что и надо оформить, пока он не бросил кони. Я благодарил старшего, но посоветовал сделать дарение обеих квартир для нашего меньшего, потому как ему тоже достается раз в году в свой трудовой отпуск заменять меня и ухаживать за братаном.

Как поговорили, так и сделали: из района привезли представителя нотариальной конторы, какой все оформил, как положено по всем правилам и по закону, выдал нам соответствующие бумаги, но только после всех оформлений и у себя в конторе, за что мы уплатили лишь какую-то пошлину. Так вот наш братан Анатолий и стал обладателем сразу двух квартир. Квартиры на брата были оформлены как дарственные, а не по завещанию, что и посоветовал нам сделать грамотный и приветливый нотариус. Детей у Ивана было много, а на одно завещание могут наброситься сразу все, какие могут даже вцепиться друг другу в волосы. На дарственную вещь не сможет наброситься ни одна из его дочерей, поскольку эту дарственную больной подписывал собственной рукой. Дарственный документ охладит их желания и горячие сердца, поскольку у него такое свойство, к чему не сможет придраться ни один республиканский суд, ни малой, ни большой солидности.

Анатолий благодарил старшего за такой благородный братский подарок, всякий раз стараясь брата как-то отогреть и прикупить ему чего-то вкусенького. А вкусными считались для него обезьянкины радости - бананы, мандарины, апельсины, другие фрукты и свежие ягоды вроде клубники или смородины. Иван уничтожал их, как врагов народа, благодарил брата и советовал не разоряться на такие деликатесы: без обезьянкиной радости можно и вовсе обойтись, потому как их любят больше дети, а он всего лишь дед, во сто шуб одет, его можно и не поважать такой заграницей. У нас бананы не растут даже в Ташкенте, так что на Африку бросаться можно и воздержаться. Обезьянкина радость вкусная, но дорогая.

В летние дни, в некоторый свой приезд Анатолий даже ночевал в соседней комнате, когда приезжал с сыном или женой. Жена Анатолия недавно добила "дембель" и ушла на свой заслуженный с хорошими проводами друзей. В Алгабас она стала наведываться почти ежедневно, благо езды-то от ее областного Степняка до Алгабаса три часа электричкой. В своей квартире Алла наводила порядок, что-то привозила с собой электричкой, чем явилась, перво-наперво, двухконфорочная электроплитка. К газовым баллонам братан не был готов, поскольку не имел газовой плиты. Все это надо было приобретать не в городе, а на месте, в Карабасе. В

один из приездов братана мы такую газовую трехконфорку приобрели, установили и воткнули в нее газовый баллон. Редуктор сидел нормально, газ не шипел; мы подожгли одну из конфорок и даже вскипятили на ней чай. Чаевали уже в Ивановой комнате втроем.

Втроем нам удавалось оставаться пару раз в месяц, когда брат уходил на свои сорок восемь и приезжал после смены первой же электричкой. Работы нам с Анатолием хватало: старшего драили, пеленали, одевали, меняли носки и всю нижнюю амуницию, ворочая братана в четыре руки, усаживали на постели в подушках, и Иван чувствовал себя облегченным, пссвежевшим и даже помолодевшим. Телевизор был полностью в его власти, где Иван смотрел передачи на казахском языке.

Я сравнивал себя с братаном. Он дружил в Кенбидаике с казахской детворой и так нахватался от нее, что к двенадцати годам считался истинным казахским пацаном. Друзья и называли Ивана по-своему: был он у них и Идрисом, и Исингарином, и Рымари-джаном, и Иваном-оглы, и Тулегеном Рымарьбаем. Я тоже до десяти лет крутился с казахскими мальчишками, потому как они в Алгабасе составляли большинство, а вот выучиться казахскому языку не смог, потому как был не иначе тупой. Шесть лет в КазГУ тоже давали казахский язык, так я вытягивал его на пятерку, а владеть в совершенстве не мог, потому как оставался тупой, как сибирский заленка. Зла на себя не хватало! Брат смеялся над моим самобичеванием и говорил, что природа дала мне другой дар — писать стихи, что-то в газеты и журналы, и вообще, наверное, на что-то большое, потому как я присаживаюсь за него в ночное время.

"Большое", Абдрахман, это попытки состряпать большой роман, только романист из меня, что из нашего Полкана сторож вареной курятины. Доверь ее ему, так ведь он оставит только ножки да рожки! Так и я: доверь мне литературное слово, так я в нем заплетусь, как бабка Христя в камышовых зарослях, когда заготавливает камыш на топливо.

Писать мне хочется, и мысль вроде путевая крутится, а вот нужные слова не приходят. Понимал, что придут они только таланту, а простого Ваньку они просто обойдут. Я считал себя какой-то мамалыгой, бездарью; переродиться мне не дано, отчего на литературном пути являюсь лишь попутчиком. Вот если бы меня кто-то прочел из профессионалов и сказал бы: "Дед, у тебя есть соль, ты можешь даже чем-то порадовать читателя!" - так я бы наверняка расцвел бы, как осенний ландыш. Такого же мне никто не говорит, и я не знаю, стоит ли мне браться за перо в мои сегодняшние семь и пять. Может, лучше прижать свой хвост и ждать конца в тиши, в тепле и в неизвестности?...

Известность нужна молодым, так как у них жизнь впереди, а я свое отжил, отпахал, состарился и не прославился. Слава в мои семьдесят пять — кому она нужна? Моему Жанадырю, областному Комыртау? Все пятьдесят лет они меня не знали, а тут вдруг рисуется какой-то Хоттаб-оглы в семьдесят пять лет! Кадыр Мырзалиев умер в 2011 году в семьдесят семь, так он был автором более шестидесяти произведений и песен, какие поются и теперь. Ая-то, чертов Митрофанушка, алгабасский недоросль, чего создал за свою длинную жизнь? Ноль пишем и два в уме — решительно ничего. Чего тогда от жизни и от окружающих требовать? А ведь требую же, тупица стоеросовая, требую известности и продвижения на литературные страницы!

Нет, надо бы спросить у себя: "Господин Рымарь, чего вы можете? На баяне шарите — взри гуд, стишки пописываете — жаксы, а вот бросаться в большую литературу кишка тонка. Таковы вот обстоятельства, уважаемый Роман Рымарь-оглы! Живи и не влезай в литературный прогресс, не дави на литературных работников, какие в газетах, в журналах, в издательствах".

ГЛАВА 8

Не знаю, как поживала посе праздника команда Григория Ивановича, только общения между нами ни на следующий день, ни после не было. Мы с братаном жили своей жизнью, питались, чем Бог послал и что готовил я лично. Телевизор Иван включал с раннего утра и довольствовался газетными программами. Я так отдавался своему дневнику и записывал что-то значительное. Для кого-то оно, может, было просто трюнка, а для меня - своя важиость.

Ну, взять хотя бы 10 мая 2012 го. Ни Татьяна, ни Григорий Иванович мне не звонили и не предлагали встретиться за круглым столом. Я так подумал - не помешало бы. Ну, подумаешь, рюмка-другая, согреет, во-первых, а во-вторых, даст по-человечески побеседовать. Человеческое общение - что может быть жизненнее этого? Вообще, когда человек в окружении друзей, ему легче живется и легче дышится. Это заметил не только я, но и мой брат.

Друзья наши для нас с Иваном являли собой истинный эликсир, эликсир дружбы и бодрости, отчего мы всегда были им рады. На этот раз никакого эликсира не было, и мы с Иваном по-своему коротали свое время и свое одиночество. Коль не звонили мои друзья, не звонил и я им. Наверное, думал я, пьянка им просто надоела, поскольку, как признаться, и мне. Татьяна еще могла побрыкаться, а нам, Хоттабычам, надо было знать меру. Ну, мера - это когда у тебя есть в нее вера. Вера в меру у меня была, была она и у моих друзей.

А были же в Алгабасе такие, какие никакой меры не признавали. Их и жены побросали, и дети повыгоняли, а они и теперь живут лишь мечтой о бутылке. Жизнь сложна, и народ в ней тоже сложный. О своей жизни скажу, что она и впрямь сложная, но я прост и легок на подъем, на общение, на откровение. Зла во мне нет, а вот желание долгожительства у меня не отнять.

Для чего оно тебе нужно, господин Рымарь? Отвечаю: издать хоть бы одну книгу, книгу стихов или какую-то повесть. Мечта эта во мне прорезалась с особой силой в наступившем 2012-ом, когда за плечами уже было семьдесят пять. Ну, в эти годы, говорила мне и моя Гульчатай, котелок

твой уже не так варит, потому и нечего настраиваться на большое варево большую вещь вроде романа или повести...

Вспоминая эти слова Гульчатай, я теперь и у себя спрашивал: почему же ты не думал о том, прохиндей чертов, в девятом, десятом, одиннадцатом? За эти годы умнее стал, питекантроп стоеросовый? Ну, два с половиной года прожил в чужом поселении, с чужими людьми, и чего ты у них нахватался, неандерталец хренов? Ответа нет, потому и глотай, Саддам Хусейн, что жизнь тебе подсовывает...

От злости на себя решил каким-то образом издаться. Как это будет происходить, не представляю, и как это делается в миру, для меня темный лес. Не знаю, как повернется ко мне жизнь, а издать книгу хочется - не для большой страны, а для себя, для друзей, для родных, для внука и внучки Марины, какую мы с Гульчатай любим как самое дорогое, что есть на свете, потому как облищем и характером удалась она в деда с бабой. Сноха Вера говорит, что она вся в бабку - и носом, и глазами, и высоким лбом. От деда она взяла, может, его привычку что-то писать и что-то сочинять. Словом, Марина у нас чисто Рымарская, и от мамы, Белашовой в девичестве, взяла, может, ее спокойствие и хозяйственность.

Правда, хочется издаться, чтоб внуки могли погордиться своим дедом еще при его жизни, погордиться перед друзьями и перед своим начальством, какое наверняка про себя определит, что Рымарь звучит гордо, и в этом плане чем-то да потрафит своим работникам. Конечно, лезли в голову и другие мысли, но мечта хоть о маленькой книжонке довлела над всеми другими. Где-то краем уха слышал, что книжонки для себя, для друзей, не для страны, издаются в каких-то частных издательствах: договаривайся, плати и получай на руки свой сборник стихов или повесть — словом, на что хватило твоего ума. Не знаю, какой у меня ум за эти два с половиной года был и остался, только не нахожу в нем какой-то новизны и прибавки лишних извилин. Конечно, годы, проведенные с братаном, могут где-то претендовать и на повесть, но это будет грустное и скучное повествование. Грусти в нашей жизни и так хватает, а тут еще какой-то пьяный Рымарь высветился с жалостными историями в его жизни с братаном.

Другого материала у меня для книги нет, он и не зреет. а потому о хорошей читаемой книге мечтать и не приходится. Живу я своим маленьким мирком, почему будущему читателю и не интересен. Сегодня у нас читатель страшно грамотный, народ - сплошь Белинские, какие видят птицу по полету, музыканта по нотам, а писателя по его работам. Оценило же общество Есенина? Оценило. Стал известным и признанным поэтом современности Владимир Высоцкий? Непременно стал, только его тупое

брежневское время не оценило при жизни. Наверное, на благо-таки на родных масс крякнули СССР, Компартия, Хрущев, Брежнев и их современники, какие разбирались в литературе, как свинья в апельсинах. Высоцкого не признавали, Солженицына тоже; Галину Вишневскую и Мстислава Ростроповича так вообще выслали на житье за большой западный бугор, как и того же Солженицына, "Архипелаг ГУЛАГ" которого был не по душе брежневской клике, какая жила еще при Сталине, следовала его политике и, может, даже гробила людей до самого 1953-го. Теперь неугодных им людей не угробляли, а высылали на капиталистический Запад, какой принимал людей из СССР и давал им все права на жизнь и творчество.

Мне до Есенина и Высоцкого, что моему Ивану до Игоря Моисеева, но ведь все равно хочется хоть чем-то засветиться. Люблю я стихи, пишу их, и накопилось у меня на две, а то и на три книги, а вот так их напечатать — не шуруплю я по этой части, потому как живу в глубинке, а оттого и тупой.

Насчет же повести — начал я наброски с 2010 года. Не думал я, что болезнь брата затянется на такую вечность, какая и толкнула меня взяться за перо. Подумал: что-то о себе писал и Руссо в своей "Исповеди", не повторю ли я его подвиг? О своих годах рождения, месте рождения, отце и матери Руссо писал откровенно. Писал он и о родне, о своих школьных годах и школьных друзьях, даже о дяде по матери Габриэле Бернаре, какой играл какую-то роль в судьбе Руссо. Вспомнил Руссо о кормилице Жаклине, к какой он питал особое расположение и даже готов был доверить ей свои глаза, какие она своею рукою закрывает после его смерти.

Не хотел бы я следовать примеру Руссо и читать свое произведение вслух, что делал Руссо. Он говорил: "Я рассказал правду. Если кому известно что-нибудь противоположное рассказанному здесь, ему известны только ложь и клевета. Если он отказывается поверить и выяснить их вместе со мной, пока я жив, он не любит ни правды, ни справедливости. Что до меня, то я объявляю во всеуслышание и без страха, что всякий, кто, даже не прочитав моих произведений, рассмотрит своими собственными глазами мой нрав, характер, образ жизни, мои склонности, удовольствия, привычки и сможет поверить, что я человек нечестный, тот сам достоин виселицы".

Ну, у Руссо все-таки было что читать в его "Исповеди", а у меня-то, тупорылого, какая своя "Исповедь"? В душе, может, она и есть, но на людях-то показать нечего. А все от бесталанности, от моей природной тупости! Казахский язык почему не выучил, хотя жил и общался с казахской па-

цанвой с самого детского садика? Потому как был тупой, отчего Бог и обделил меня талантами. Ничем я перед друзьями не выделялся, был такой, как все, а то и вовсе не дотягивал до умеющих говорить, мыслить, рассказывать интересные истории с ним или с кем-то из его друзей.

Почему я остался дуб дубом, теперь уже не разобраться. Разбираться сейчас, с кем рос, учился, общался, не получится, потому как много времени улетело. В нынешние мои семьдесят пять что-то вспомнить да анализировать - пустая затея, потому как жизнь, по Пушкину, это "волна и камень, лед и пламень, не столь различны меж собой". В моей долгой-таки жизни было и то, и другое. Была рабочая волна, какая сорок лет несла на себе лед, пламень и камень, какие и впрямь мало разнились между собой.

Тяжелый жизненный камень, наваливающийся на меня лично, на мою семью и мою родню, смывался жизненной же волной, как и тушился этой же волной пламень моей души, загорававшийся не вовремя и не в том месте. В молодости, еще в десятом классе, я перенес любовные возгорания, но жизненная волна умела тушить этот пламень, просто спрашивая: "Ты готов к такой жертве, как семейственность, в семнадцать лет? Что у тебя есть? Где специальность, жилье, самые простые деньги на питание, на пеленки, распашонки?". Сам же себя и укрощал в своих желаниях, за что себя же и благодарил после этого.

Были какие-то любовные поползновения уже в восемнадцать к молодым весовщицам в первые целинные годы, где пришлось поработать и мне. Целина была обширной, многолюдной, какая подчинялась всем превратностям жизни — передовой работе, знатым передовикам, хорошей любви и хорошей ревности с волнением у тех, к кому они приходили. Приходили они, конечно, и ко мне, потому как не могли не прийти в мои восемнадцать. Иметь лед в душе я не мог, как, наверное, любой в моем возрасте. Жизнь подсовывала свои сюрпризы, а выбирать их приходилось умом и наощупь. Все это я записал только теперь в эти победные дни, а прежде, до своих семи десятков, дневника не вел, за что готов спалить себя, как японцы спалили Сергея Лазо.

Да, беседовать с собою наверняка последнее дело, а вот приходится! Не помню, кто в миру этим занимался тоже, но, кажется, делал это

лермонтовский Печорин. Читаю журнал Печорина как бы не 1840 года и именно 11 мая. Ну, смотри-ка, я тоже делаю запись 11 мая, но 2012-го, то есть 170-172 года спустя. Что же писал молодой герой Лермонтова 172 года назад? "Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой

письменный стол белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный, воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё, чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?"

Открыл свое окно и я, только времени было не пять утра, а где-то девятка, когда Иван уже проснулся и, кажется, придавливал вторую сигарету. Пока же братан, как он обычно говорит, дрыхнул, я общался со своим дневником и также смотрел через окно на белый свет и на свой палисадник, в каком отродясь не росло никаких черешен, и на мой письменный стол ветер никогда не заносил белых лепестков. Вид и правда был чудесный, потому как на дворе был май, грело и светило солнце, а воздух и вправду был чист и свеж, как поцелуй ребенка.

В этот день 11 мая Печорин встретил своего старого друзьяку Грушницкого. Такого у меня не было, но поутру меня навестил Григорий Иванович, с каким мы высмолили по сигарете, почаевал со мной и Иваном. Григорий Иванович пришел не с пустыми руками, а с двумя костылями, какие, по мнению Григория Ивановича, помогут Ивану без помощи ходить на собственных ногах по комнате и во дворе. Достать их было сложно, но через друзей удалось достать эти "ходилки", какие помогли некоторым товарищам встать на ноги и даже передвигаться у дома и по поселку.

Два костыля - это не единая трость, что есть у Ивана, на какую не сделаешь нужной опоры. На костыли можно всегда опереться и не свалиться на бок. "Попробуй применить их, Роман, — посоветовал Григорий Иванович. — Может, что-то путевое и получится. Все-таки наступило лето, и вставать с постели братану твоему все равно придется. Я же вижу, как ты мучаешься, вода его под руку с одной стороны, а с другой он опирается на трость. Костыли же заменят вас обоих — и тебя, и трость, и хоть как-то освободишься для себя и для друзей".

Я благодарил Григория Ивановича и предложил ударить по стопке. Ударили мы, конечно, как водится, по три, закусили соленым копченым салом. Ивану наливать не стали. От чая он не отказался, но от чая, как говорила Татьяна, любить не хочется, это и ежу понятно.

...13 мая 2012 года. В этот день, но 170 лет назад, к Печорину пришел его знакомый доктор по фамилии Вернер. Ко мне же не пришли, а приехали на "скорой" сразу два доктора и медсестра, каких я вызвал по телефону где-то в семь утра. Врачи приехали, когда уже выгнали коров, и солнце пробивалось сквозь редкие тучи. До этого по привычке я спрашивал у братана по-казахски, как он любил: "Не керек, Азамат?". Он же мне отвечал по-русски: "Ничего, братан, не надо, только вот присмоли сигарету, а то спички не слушаются".

Выполнял я и другие просьбы, только на этот раз братан мой молчал, чего с ним прежде не случалось. На голос отвечал голосом, а нынче, 13 мая, голоса я не услышал. Подойдя к кровати, взял брата за руку-она была холодной. Приложил руки к лицу - то же самое. Понял, что братан мой умер или просто заснул навечно, в чем надо было убедиться точно...

Все остальное сделал телефон. Приехавшие врачи по-своему осмотрели братана, что-то слушали и что-то прикладывали к телу. а мне сказали: счастливая смерть без боли и конвульсий, заснул, никому не мешая. Обещали мне выдать соответствующие документы после всех ритуальных мероприятий. После уезда медиков я позвонил Григорию Ивановичу, а он уже, думал, по своим каналам сообщит всем, кому нужно. Врачи же мне сказали, что у инсульта есть свойство останавливать сердце во сне, что он и сделал. Говорить с докторами на философские темы, как это делали Печорин и Вернер, мне не хотелось - было не до этого. Я только ждал Григория Ивановича, Машу, Галину и Татьяну, ожидая от них помощи и совета.

Я знал, что покойников как-то моют, одевают в хорошие одежды, кладут на доски, а потом кладут в гроб, когда его где-то изготовят и привезут. Пока ничего такого не было в нашей квартире. Я отыскал в шифоньере чистые трусы, майку и носки, какую-то светлую сорочку и добротный костюм, но с медалями ветерана труда и за трудовую доблесть. Медали снял посчитав, что вся амуниция эта в гроб сгодится.-

Где-то к десяти утра пришла вся команда Григория Ивановичу. Григорий Иванович, Маша и Галина с Татьяной попросили меня согреть воды, дать тазик и обмылочек, какой не жалко выбросить. Я сделал, чю от меня требовали. Как мыли и одевали братана - не ведаю, нотому клк мне сказали, что этим заниматься не следует.

Доски нашлись: мы их принесли с Григорием Ивановичем, установили на двух стульях и коллективно положили уже одетого братана на них. Насчет гроба Григорий Иванович взял руководство на себя; на своей машине в свою бывшую организацию и к послеобеденным часам гроб привезли какие-то люди, занесли его в дом, сняли с досок покойника и уложили его в гроб. Сделали это быстро, умело и по-мужски проворно,

Выглядел братан мой не изношенным, не замученным, чистым. Никакого галстука на него одевать не стали, хотя я видел не раз мертвецов в галстуках. Маша и Галина отлучились в местную церквушку, откуда привезли какую-то отпевальницу, какая читала что-то молитвенное и такое молитвенное пела. По окончании всех процедур я дал монашке какие-то деньги, какие она почему-то не брала, но я насильно воткнул их в ее карман. Женщина поблагодарила меня и сказала, что придст завтра, когда

будут похороны. Свечи же, что горят у изголовья, когда будут сгорать, надо заменить свежими - они лежат на столе.

Назавтра приехал Анатолий со всей семьей - женой Аллой, сыном Денисом, дочкой Аленой и ее мужем. В два часа дня какие-то мужики вынесли гроб во двор, установили на стульях; кто-то шустрый фотографировал моего брата и нас, рыдающих над ним.

Друзья по прежней работе, по жизни говорили какие-то речи, затем гроб поместили на обычный грузовой "ЗИЛ", и вся процессия двинулась на алгабасское кладбище.

Как было, как прощались, как сжималось сердце от горя и боли, говорить не стоит, только брата моего не стало. Из нашей Рымарской фамилии мы с Анатолием, наша сестра в Чебоксарах, сын Анатолия, мой сын на Алтае и его сын. Было Ивану 82 - не детские годы, и, может, и вправду надо благодарить Всевышнего, что он дал брату долгую-таки жизнь и такую легкую смерть. Уходя с кладбища, мы с Анатолием постояли у могилы брата и у креста, где спецы красиво и жирно вывели:

"РЫМАРЬ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

РОД.: 17.09.1930

УМ.: 13.05.2012".

Попрощавшись с братом, мы поправили венки на кресте и направились в автобус, где нас уже ждали все остальные.

ГЛАВА 9

После поминок родня моя во главе с братаном уехала в свой город, где их ждали работа и дом. Я остался в квартире один. Женщины помыли пол, стол, подоконники, стулья и даже оконные рамы. Я ни во что не вмешивался, ничего не советовал и не спрашивал. Оставаться мне одному однако не давали ни Татьяна, ни Григорий Иванович, какие просто опекали меня. Григорий Иванович даже дал согласие переночевать у меня, благо диван у брата пустовал много лет, на какой много лет никто не ложился. Я не перечил Григорию Ивановичу и сказал, пусть он делает так, как считает нужным. Ночевали вдвоем. Как водится, пригубили, потом повторили и потроили. Закуски было вдоволь, так что спиртное нас не брало. Говорили с Григорием Ивановичем о дочерях Ивана, каких в Алгабас, где они все родились, не затащишь никаким магнитом. На этот раз мы хорошо сидели, хорошо выпивали и хорошо, с расстановкой, курили. Утром хорошо почаевали и, конечно, причастились парой рюмок — все-таки это были еще поминки. Конечно, поблагодарил Григория Ивановича за компанию и что я не остался один на один со своим горем, со своими мыслями и желанием просто выть на луну.

Домой решил ехать после девяти дней, что я и сделал. Народу было не слишком, но пришли старые друзья, каким и положено было помянуть своего старого дружка, с каким в прежние времена работали, общались, отмечали празднества, а то и просто выходные дни. Когда стали пенсионерами, дружбу все равно не теряли, как-то общались при встрече, а то и за круглым столом. Круглый стол, конечно, условность, встречались во дворе и присаживались в тени у сарайчика, где никто не видел и не досаждал. “Пузырь” соображался в складчину, а чаще приносил его тот, кто приходил просто так, навестить да покалякать о пенсионном житье-бытье, проблемой стариков с углем и дровами, за какие надо было не отсчитывать, а отваливать, потому как доставляло их не государство, а частники. Приехали на девять дней и брат с женой. После поминок, на другой день мы с братаном умчались из Алгабаса на электричке, оставив на хозяйстве жену Анатолия, какая сама напросилась на эту должность. Как

пенсионерке, в городе ей скучно, никто к ней в дом не приходит, а тут столько подруг и друзей, какие и посидят, и поболтают, и даже по-женски иногда примочат коллективный “пузырек”. Братан запланировал покрасить в Ивановой квартире пол, краска уже приготовлена, осталось лишь надавить на кисть. Будет ли хозяйка этим заниматься - неизвестно, только она сказала, что это ее страсть и бывшая профессия. Красивый пол и квартиру сделает красивой, а красота облагораживает человека. Братану сказал, пусть он живет в обеих квартирах сразу или по очереди, но пусть квартиры не пустуют - дурная примета. Документы на квартиры у брата-на в порядке, мы хорошо поработали в этом деле еще при жизни старшего, так что Анатолий сейчас хозяин сразу двух квартир. Как он будет поступать с ними в будущем, не имею представления, только я бы их не продавал. В 2014-ом у брата-на “дембель”, почему бы не поехать жить на родину, где родился и крестился? Вода в доме есть, уголек - откладывая на него денежки, а вот над собственной канализацией прямо у себя в квартире надо крепко поработать. Конечно, поработают другие, есть спецы в этом деле, плати им денежки - и они отгрохают тебе канализацию до самого Лондона. Многие алгабасцы это сделали, живут и радуются жизни: зимой никуда по надобности не ходить, как и летом, хотя зимой можно и позволить себе такую вольность.

— Так надо же на веранде утеплить комнатку под туалет, провести туда тепло, сорвать полы и копать глубокую канаву для цементных труб большого диаметра, — засомневался мой городской братан.

— Конечно, Азамат Калкенович, ты, главное, плати, все остальное спецы тебе оформят в лучшей форме. Они проруют глубокую траншею метров двенадцать от дома, уложат трубы и в конце траншеи выроют глубокий септик под три кольца диаметром в метр-полтора и высотой в метр с чем-то. Трубы могут присыпать для утепления стекловатой, а кольца поставят друг на друга, накроют большой крышкой, и вот тебе канализация готова. Вас в квартире будет только двое, потому машины откачивать септик будут как бы раз в году в летний период, а то и осенний, когда еще не нагрязнули холода. Вам с женой, как двум пенсионерам, канализация нужна будет как воздух, разориться на нее придется очень крепко, но это разорение станет и вашим днем рождения. У вас здесь будет тишь да благодать: ни машин, ни асфальта, ни дыма, ни гари, воздух чистый и свежий, по замечанию поэта, схожий с поцелуем ребенка. В палисаднике можете сажать зеленую мелочь - лук, чеснок, редиску, морковь, какие здесь творятся у каждого хозяина. Смелые так сажают картопан и капусту, отчего осенью на магазины и на местный базар они поль вниманья и два пре-

зрения. Хватит ли у тебя духу на огородные подвиги? Только местный народ делает это и, конечно, на этом крепко экономит. Работы в Алгабасе государственного пошиба почти нет, кроме "Темир жолы", но она тоже не резиновая. Ну, работают тут маневровые локомотивы, путейцы - несколько человек. Хорошие организации, как элеватор и тяговые подстанции, но штату них извечный, стабильный, профессиональный, а потому боевой.

— Но все же делают канализацию в собственных домах, ведь кто-то же и доходную тянет.

— Известное дело, Сегизбай. Посмотри, сколько в Алгабасе частных домов, сравнимых с маленькими дворцами. Уж там точно не Ваньки с пивзавода живут, а, наверное, какие-то тузы при галстуках. Тебе, Абрахаман, на них не стоит равняться, ты делай свое дело, и все у тебя будет окей. Когда решишься на канализацию - сообщишь, я тебе из своего фонда, как меньшому, выделю в подарок сто тысяч тенге, и ты канализационную дыру закроешь. Подарок настоящий, братский, какой поможет тебе выкарабкаться. Меня с тобой не будет, потому как в мои семь и пять разъезжать по гостям и весям не резон. Я уже хожу с Ивановой тростью, и она мне просто помогает держать ход и равновесие.

— Ну, а на сорок дней надо же приехать...

— Разумеется, Темиргали, конечно, приеду. Сорок дней - это святое, а годовщину, бывает, и не делают.

— Нам бы сороковник отметить, чтоб и люди знали, а то ведь осудят, скажут, не братаны, а какие-то приживалки.

— Провинция такое сказать может, потому будем делать, как делают это все сегодня и делали, наверное, наши предки в прошлом...

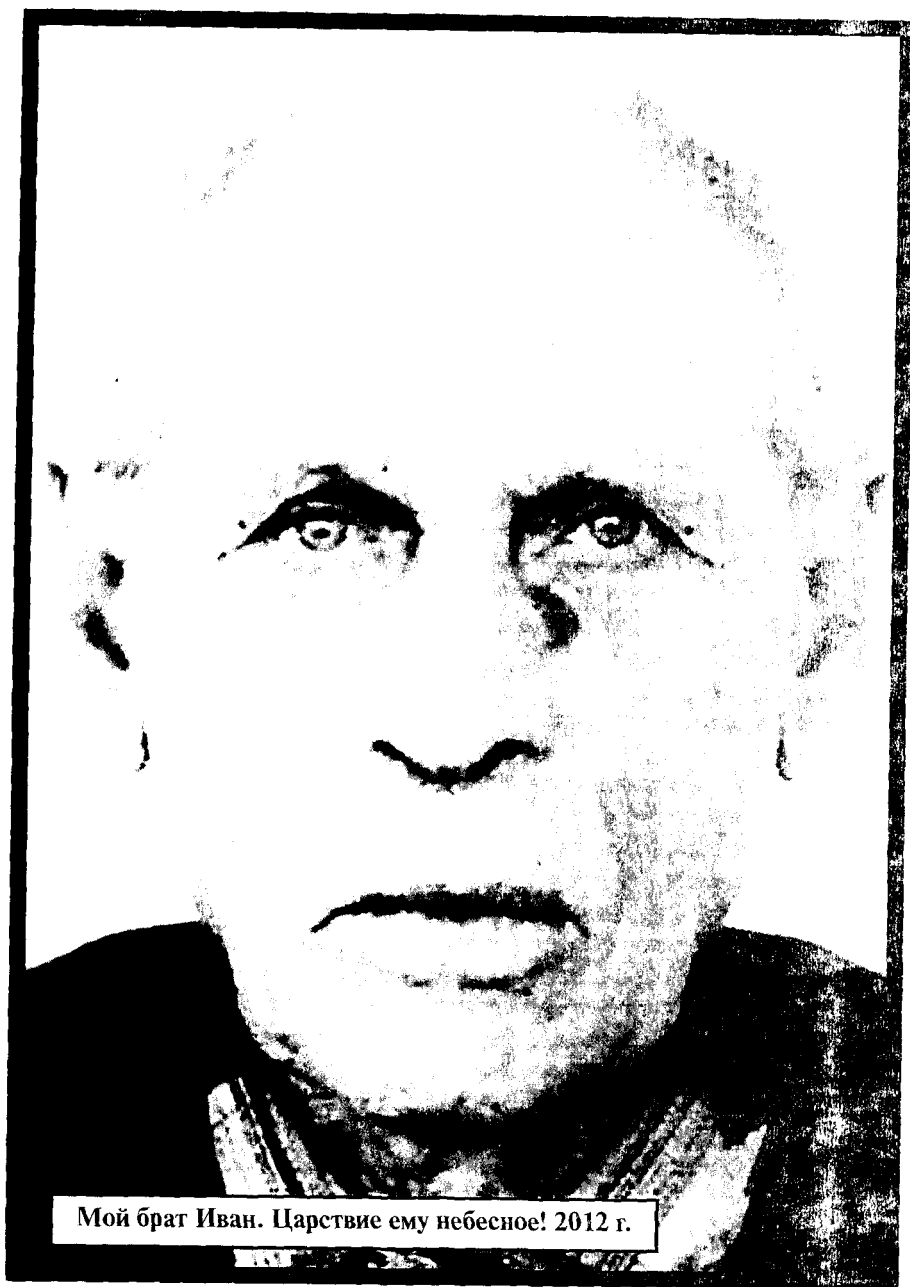
На сорок дней собралась небольшая компания друзей братана — человек шестнадцать. Подумал: дело не в количестве, а в качестве, а качество у друзей Ивана было крепкое. Конечно, и лет-то им всем было под семерку, а то и под восьмерку, но старая дружба не стареет, о чем говорили сами поминальщики. Я просил гостей хорошо помянуть братана, потому как прошло уже сорок дней, время уходит и память застывает. Не хотелось, чтоб память об Иване остыла, а потому поминайте по русскому обычаю — крепко, чтоб ему на том свете хорошо лежалось и спалось.

Кто-то из друзей Ивана сказал, что они и так уже по три рюмки помянули, а после трех, говорят, не положено на таком грустном застолье.

— Друзья мои, это бабкины предрассудки, ничего страшного не произойдет, если вы ударите по четвертой и пятой рюмке, тем более что это не рюмки, а наперстки в каких-то сорок грамм.



Мой брат Иван. 1952 г.



Мой брат Иван. Царствие ему небесное! 2012 г.

После проводов гостей братан возмутился - людей заставлял выпивать, а сам и рюмки не выпил. За братана же, за его память. Пришлось братану сознаться, что с выпивоном и куревом я завязал отныне и навечно. Братан наш прожил восемьдесят два, а сколько начертано мне — Бог весть. Мне-то, братан, все-таки семь и пять, а ты так и есть пацан, потому как на шестерку свою наступил. Шестьдесят это же не годы, у нас на дембель уходят в шестьдесят три, до каких тебе еще ползти, и ползти. А медицина курево и выпивон не приветствует. Конечно, во всем нужна мера, но у русского человека она была хоть когда-нибудь? Мы где родились? На селе, а у села, у деревни, у сельского мужика привычка к чему-нибудь всегда крепкая. Я тоже стал втягиваться в нашу русскую, да еще и придавливать ее куревом. Посмотри, на кого я стал похож? Да на ишака бухарского Два с половиной года у братана, и правда, наверное, отняли у меня полжизни, потому бросаю курить и буду наверстывать потерянное здоровье. Притом, братан, у меня много планов на будущее. Планы эти разные, но главное - написать о братане нашем книгу. Наброски у меня уже есть, но нужна большая палитра, в какой будут отражены все мы и все наши и Ивановы друзья, но под разными именами и фамилиями. Литературный процесс это допускает, так что когда эта книга будет готова, и вы прочтете ее, то можете себя и не узнать. Ты можешь, братан, себя не узнать, твоя жена — себя, Григорий Иванович и его компания, Тутешев, Жаксылык, Темирбай, Дарибай, Сагентай, Кошкарбай и другие товарищи. Такие вот дела, брат.

— Ты мне, Калкаман, ничего не говорил о книге, о нашем старшем.

— А чего распространяться? Вот когда рожу, увижу ее живой и вам подарю, тогда можно говорить о книге, как живой вещи о живом человеке.

— Ну, не знал я, братан, о подобных твоих талантах. И что, прямо на книге будет стоять твое имя, Роман Рымарь?

— А как же! В книге как раз и будут все Рымари, ты, твоя жена, твои дети. наш старшой и наша сестра, будет мама и все наши друзья. Книжки сейчас частные издательства выпускают в количестве по твоему желанию. Я закажу полтинник, и нам всем хватит, хватит и нашим друзьям. Эта будущая книга, Темирбай, не моя прихоть, а, наверное, прихоть нашего братана, которому так хочется, чтоб о нем помнили. Он слишком любил жизнь к так хотел, чтоб она была к нему тоже благосклонной. Я ведь не зря просил на сороковнике, чтоб друзья хорошо поминали братана. Прошло ведь уже сорок дней, как он ушел от нас, пусть земля ему будет пухом. Я еще говорил, что он жил в вашем поселке, был с вами, работал, общался, курил и выпивал стопку. Он был настоящим мужиком, какой родил и

воспитал четырех дочерей, десять лет как похоронил жену, жил одиноко, но не ударялся в пьянку и разврат. Будь жена - может, он жил бы и теперь, потому как все эти десять лет он сам себя обслуживал внешне и внутренне, а это отнимало силы и время, а ему-то уже шел восьмой десяток. Вообще, жить мужику одному несподручно и даже опасно. Инсульт пришел к нему, наверное, не зря. После баньки он пришел бы домой к жене и к горячему чаю, а он пошел к дружбану, где и засосал пузырь, какой и накликать инсульт. В обычное время он бы и не пришел, а после баньки родимую надо опасаться. Об этом медики говорят, да и сама жизнь знает случаи.

После печальной сорокадневки съездили с братаном на кладбище, благо Григорий Иванович со своими "Жигулями" был начеку. На кладбище поправили завядшие венки, положили несколько новых, но маленьких, какие творила местная церквушка. По просьбе Маши и Галины на могиле посыпали крестом какое-то зерно, какое отыскалось в доме. Кажется, это было пшено, его и употребили. Что за ритуал — не понимали, но возражать не стали, потому как советовали сделать это совсем немолодые тетки. Как положено, налили в могильный стакан водки, налили рюмку прямо на место, противоположное кресту. Григорий Иванович и братан тоже выпили по стопке. Моему отказу Григорий Иванович удивился, удивился и моему отказу от курева.

— И правда, что ли, завязал навечно? — удивился Григорий Иванович. Вроде не похоже на тебя и на твоего покойного братана.

— В мои семь и пять, Григорий Иванович, с этим делом надо завязывать. Себя не побережешь — другим ты и даром не нужен. И медишше тоже. За мои семь и пять, Григорий Иванович, выпито мною Каспийское море и выкурено сигарет с дымом, равносильно заводским балхашским трубам. Дотянете до моих лет, Григорий Иванович, и поймете, что я был где-то прав. Ваш шестидесятник и шестидесятипятник пока не дают о себе знать, а дальше кто знает, где у кого какие гены.

Дома сказал братану, что приеду в Алгабас теперь только на годовщину, в какую буду готовить эту самую книгу о братане. Названия она пока не имеет, но это уже дело десятое. Главное, найти тему, обставить ее и довести до конца, до кончины нашего братана.

ГЛАВА 10

Дома, в своем Жанадыре, я чувствовал себя как бы новорожденным. Гульчатая ухаживала за мной дома и во дворе, куда я выходил повидаться и посидеть с друзьями. За два с половиной года они почти отвыкли от меня и теперь сами пришли на нашу дворовую лавку. Где я был, они знали и знали, как я мучился все эти годы, как умер брат, и вот этот минувший сорокадневник. Теперь годовщину целую можно отдохнуть, набраться сил и энергии и пообщаться с друзьями. В нашем хоре "Сударушка" меня всегда не хватало, что и необходимо наверстывать. В этом, двенадцатом, поселку Жанадырь в сентябре исполняется семьдесят пять, но его решили перенести на месяц раньше и совместить с Днем железнодорожника. Это решение акимата, и, кажется, оно очень правильное. В Жанадыре народ в основном железнодорожный, потому им вдвойне будет приятно отметить и семидесятипятилетие поселка.

Особых друзей у меня в Жанадыре не осталось, а вот близкими по "Сударушке" и раньше - по нашему железнодорожному общему дому, локомотивному депо, остались Виктор Бугаев и Алексей Черепков. Встречались мы и раньше, когда работали в депо, когда же стали пенсионерами да еще влились в наш ветеранский хор "Сударушка", встречи наши случались часто. Хорошие концерты мы и отмечали отменно. Конечно, была добрая закуска и добрый выпивон, от какого никто не отказывался, хотя и были все пенсионерами. Пенсионеры, оказывается, тоже умеют поддавать. за что их надо просто похвалить. Они забили на свои годы и свою старческую немощность, ноги носят, а раз носят, значит, человек жив, подвижен, и ему надо когда-нибудь подогреть кровинушку и воспрянуть духом. У пенсионеров особой работы дома нет, а потому им нужны движение, общение, впечатления для души и сердца, ну, а коль подвернется коллективный стопарик, то это вообще праздник, праздник и все. Насчет моего отказа от стопаря и от курева Виктор с Алексеем удивились и даже осудили. Насчет курева поддержали, а вот игнорирование стопаря осудили. Не такие уж мы и старые, чтобы отказывать себе в таком удовольствии. Ладно - "косорыловка", а коль коньячку ударить, да многозвездного? Нет, братан, ты многое теряешь. Американские ученые так даже реко-

мендуют в день ударить сотку беленькой или стакан вина. Есть такие вина, какие даже цари любили, потому как от них не только любить хочется, но и вообще жить. Конечно, слушал я друзей и ничем им не возражал, во всем их поддерживал. Мне, правда, бывает, ужасно хочется ударить стопку коньячку или доброго вина, но ведь я перед могилой брата дал обет не пить и не курить. Слава Богу, сорок дней держусь, а там кто его знает, как поведет себя организм и как голова будет варить на этот счет. Виктор с Алексеем меня не убедили и не уговорили, но на “пузырь” я им дал, что они тут же и организовали. Во дворе не стали выпивать, а зашли ко мне в дом, где Гульчатай организовала все на высшем уровне. Во дворе и сараюшках сейчас стало опасно, поскольку полиция просто шныряла по таким укромным заведениям и ловила выпивающих, что в Жанадыре уже бывало не раз. Выпивохам ничего не делали, а вот огромными штрафами они откупались от своего возлияния. Дома у себя ты хоть захлебнись, а где-то во дворе, в сараюшке, а то и вовсе в парке под раскидистым кленом, какой и укроет густой листвой и напоит кленовым воздухом, - нельзя, потому как полицаи знают и такие потайные места и втихаря их караулят. Выпивохы думают, что они одни, что они всех обманули, а оказывается, у полицейских своя система слежки, так что теперь не разгонишься ударить стопарь где-то у дома или на улице. Дома, на рыбалке, в гостях пей-запейся, а вне их - теперь поберегись. Со штрафами полиция не знает меры, потому лучше поберегись.

После сорокадневных поминок взялся за ум. Прочел наброски к книге о братане. Полистал в который раз "Исповедь" Руссо и полезного для себя там вроде ничего и не нашел. Полистал и "Героя нашего времени". Здесь было на чем остановиться. Удивился такому непревзойденному русскому таланту, в двадцать пять написавшему такое великое классическое произведение. А я чего сделал в его годы? Да скотина ты безрогая - ничего, решительно! А в тридцать лет, а в сорок, в последующие, до самых семидесяти пяти? А еще, подлюка, высшее образование имею, КазГУ закончил, да еще гуманитарный, журналистский факультет. Чего тебе, обрзина, не хватало? Вот именно, ума, какого Бог дал, да не вразумил быть ему полезным. Да разве сейчас, в семьдесят пять, что-нибудь напишешь? Не знаю, тут не иначе надо Львом Толстым родиться, а я ведь всего-навсего лишь Роман Рымарь, какого белый свет не знает. Не знает собственный Жанадырь, не знает областной Комыртау и соседний Степняк, где проживает мой брат Анатолий и его семья. Об Алгабасе и говорить нечего, потому как он жил целиной, живет ею, а значит, заботой о хлебе, а не о какой-то литературе и ее писателях. На деле же не все потеряно, голова, как

вижу, у меня все равно варит и даже рождает экстремальное. Ну, взять хотя бы нашего предка Михаила Лермонтова. В двадцать пять лет у него уже был готов роман "Герой нашего времени", какой вышел в издательстве Ильи Глазунова в 1840-ом, о чем оповещала и "Литературная газета", известное в России издание, организованное еще Пушкиным. Кроме "Героя нашего времени" журнал "Отечественные записки" в каждом его номере печатал различные стихотворения поэта Михаила Лермонтова, выходившие уже отдельными сборниками. Надо же, и все это делалось сплошь и рядом до тридцати. А я, дубина и тупица? И все равно же рвусь, идиот, в печать. Ну, судить меня за это вряд ли стоит, просто из уважения к моим годам. Как-никак, а стариков у нас все же ценят - одних просто за годы, других - за прошлые заслуги, третьих - за литературное творчество, чем блещут у нас не слишком многие.

Ценили современники и Лермонтова, какие регулярно читали его в "Отечественных записках" - прославленном в российском журнале, в журнале "Сын Отечества" и других изданиях. А какие были отзывы! С умилением, с великой силой признания таланта молодого автора и большого поэта выступали Белинский, Аксаков, Карамзин, Панаев, Тургенев, Жуковский, Вяземский. Несмотря на молодость, Лермонтов встречался с женой Пушкина Натальей Николаевной и с братом Александра Сергеевича. Удивительно, что история не отмечает встреч Лермонтова с Пушкиным, хотя и тот и другой России были известны. Историю за это упрекать вряд ли стоит, поскольку этих встреч, действительно, по каким-то причинам не было. Как-никак, а Лермонтов встречался с известными писателями своего времени и с великим Белинским, какой после встречи с совсем еще молодым Лермонтовым вынужден был сказать: "Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь цену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно я был у него в заточении и в первый раз разговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как верно он смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О. это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!" Ну, Белинский имел право сказать такое о Лермонтове и так воскликнуть на всю Россию. Это, может, еще больше притягивало меня к лермонтовской поэзии и к его такой короткой жизни. Удивительно, но в годы великого Союза республик советских я дважды отдыхал в доме отдыха "Правда", что располагался в Кисловодске, где пил отличную минеральную воду, лечебную по своей сути и по всему содержанию. Ах, где же ты, золотое коммунистическое время, когда на производство

приходило море всяких путевок в санатории да дома отдыха. Могли поехать в свой трудовой отпуск отдыхать простой слесарь, труженик, простая доярка, чабан, тракторист, как я ездил с Гульчатой в тот же Кисловодск, Алушту, Сочи, Ялту, Сухуми, Евпаторию, Красную Поляну, Адлер, в наш казахстанский "Манкент" и боровский санаторий, стоящий на берегу моря. Путевки стоили просто мелочь, поскольку все на себя брало государство или производство. Как бы ни было, а свет белый с Гульчатой нам повидать удалось. Удалось побывать по турпутевке даже в Германии в 1985-ом, где удалось повидать Берлин, Эрфурт, Веймар и, конечно, Бухенвальд с его печами для сжигания людей. Нынешнее время такое счастье рабочему человеку не подарит. Конечно, повидать за свои кровные нынче можно хоть стодвухэтажный Эмпайр-стейт-билдинг, что красуется в великом Нью-Йорке. Можно ударить и в Тайланд, и в Турцию, и в Монако, в Испанию с Италией, в далекую Австралию с Японией. Так вот, о Кисловодске. Наверное, Лермонтов все-таки здесь бывал и также пивал эту воду, хотя мог пить ее и в Железноводске с Пятигорском, где бывал не раз. Бывал в этих городах и я со своей туристической группой, организованной работниками дома отдыха. В Пятигорске нас водили на пятигорское кладбище, где показывали лермонтовскую могилу, в какой он был первоначально похоронен, и затем его бабушкой Арсеньевой гроб поэта был перевезен в Тарханы Пензенской области, где он покойся и поныне. А до этого нас водили на место дуэли Лермонтова и Мартынова, где стоит величественный памятник поэту, сработанный или благодарными его современниками или уже коммунистической Россией. Как бы ни было, а памятник не дает погибнуть и вообще погаснуть памяти о большом поэте России, жившем, считай, бок о бок с Пушкиным, Гоголем, Аксаковым, Карамзиным, Тургеневым, Белинским, Баратынским, Одоевским, Боткиным, Вяземским. Все это исторические личности, какие жили Россией и прославляли ее, прославляли собой и своими произведениями, какие долго будут жить в живом организме великого литературного мира.

Стоя у памятника, моя Гульчатая сказала:

- Вот смотри, Хузин Тай, как люди ценят далекого поэта, поклоняются ему и возлагают цветы. А ты какую хиромантию пишешь? Чем ты прославишь себя, свое дело, свой край? Да ничем решительно, дорогой Чим Бер Лен, потому как у тебя нет тяги к писательству. К бумагомарательству ты пригоден, а живое произведение ты сообразить не можешь, потому как и рядом не стоял с подобными Пушкину да Лермонтову, Белинскому да Гоголю.

— Ну, Син Тя Мин, зачем мне равняться с гениями? Я всего лишь про-

стой железнодорожник, о жизни железнодорожного мира и пишу. Железнодорожники довольны, когда читают очерки о себе в газетах. Меня ведь начальник Карагандинского отделения дороги Растрьгин хвалил и лично поздравлял с Днем железнодорожника. Приятно было на душе, значит, я не простой Фома Гордеев, а известный слесарь Роман Рымарь, который и тепловозы ремонтирует, и в газетах прославляет железнодорожный народ. Так что, Сунь Линь Тяо, баллоны на меня не кати.

- Я и не качу, Хо Дин Мин, я только хочу, чтоб хоть что-то брал от Пушкина и от Лермонтова, отчего и мне приятно, когда подруги говорят о тебе в высоких степенях. У них, как я знаю, мужья слесари да водят поезда, а сообразить какую-нибудь писульку у них на то тямю жок. Так что, Ким Ир Сен, я хочу, чтоб ты прямо сейчас, у памятника, зарядился поэзией Лермонтова и уже дома поэтически выложил.

- Я это и делаю, Ли Хун Чай, мысленно впитываю энергетику Лермонтова, а как она выльется дома, не тумкаю. Вернемся домой, посмотрим, чем я подпитался, хотя, по сути, это простая дребедень, мечты бездаря и тупицы. Себя-то я, Со Ляо Чи, знаю, знаю, чего я стою в сегодняшнем пишущем мире.

Объясняться с моей Гульчатой, Ли Хун Чай и Сю Ляо Чи не стал, а уже дома кумекал, на что я пригоден в творческом плане. После того пролетело уже как бы не сорок лет, и уже с сегодняшних жизненных позиций смотрю, на что я пригоден. Повесть эту заварганил, только окончательно успокоюсь, когда увижу ее живой. А когда увижу да раздам друзьям, родне и знакомым, тогда Гульчатой и скажет, на что я способен ее Ху Зим Тай, Чим Бир Лен и ХоДин Мин. Конечно, до всяких нынешних Донцовых, Сулейменовых, Гундаревых, Шашковых, Шиленко, Михайловых, Черновых. Ударцевых, Веселовых, Вишняковых, Матвеевых и прочих мне что до Осакаровки по-пластунски, только наметки у меня есть, и, по-моему, они чего-то стоят. Наверное, я и сам чего-то да стою, только со стороны это не видно. Не видно и все, Сю Ляо Чи, а там смотри, как ты сможешь видаться народу!

С болью встретил Белинский смерть поэта Лермонтова, настигшую его всего лишь в двадцать семь лет: "Мы встречаем новое издание "Героя нашего времени" горькими слезами о невозвратимой утрате, которую понесла осиротевшая русская литература в лице Лермонтова! Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеоритом, оставить после себя длинную струю света и благоухания и - исчезнуть во всей красе своей".

Да, гения русской литературы не стало. Удивительно с тогдашней точки зрения, с нынешней, тем более что у Мартынова поднялась рука на

большого поэта России. А они ведь знали друг друга и даже как-то дружили. Мартынов не мог не знать "Героя нашего времени" к 1841 -ому году, когда уже выходило второе издание "Героя...". Не мог Мартынов не знать и стихов Лермонтова, потому как к сорок первому году их вышло в журналах и отдельными сборниками довольно много. Мартынов и Лермонтов были почти одногодками, Мартынов не пожалел поэта, не пожалел русскую литературу, а безжалостно выстрелил в них со своего тупого бесчеловечного прицела. После смерти поэта Мартынов прожил до шестидесяти своих лет, оставшись неизвестным России простым военным, не прославившим себя ни единым военным подвигом, а поимевшим проклятье всего литературного человечества.

Листаю свою жизнь. Где-то в семьдесят или около того встречался лишь с одним великим поэтом Казахстана - Владимиром Гундаревым. Мы беседовали о состоянии нашего республиканского поэтического хозяйства, о наших поэтах, среди каких возраста Лермонтова никто не имеет. Олжас Сулейменов - большой поэт, но это уже история, какую мы должны хранить. Что-то из моего Владимир Романович принял, и оно было опубликовано в четвертом номере "Нивы" за 2008 год и в номере втором за 2009-ый. Кланялся за это Владимиру Романовичу при жизни его, кланяюсь и теперь, когда поэта уже не стало. Были это вещи прозаические, а надо было что-то оставить и из своей поэтической прозы. В поэтике я тоже кое-что, но не нашлось на земле ни одного человека, какой стихи мои прочел и высказал бы свое профессиональное мнение, как это делал Белинский. В своих стихах я и теперь колупаюсь, читаю их, листаю и не знаю, достойны ли они видеть свет в журналах или в каких-то издательствах. Гульчатай моей нравятся, моим друзьям Бугаеву и Черепкову — так вообще, какие даже называют меня жанадыровским Пушкиным. Ну, до Пушкина мне как до Лондона пешком, а вот простым дворовым поэтом я, наверное, могу считаться. Ну, просят иногда Бугаев с Черепковым от пенсионного безделья и от скуки прочесть им что-то из мною написанного нового. Читаю просто так, иногда артистически, что вызывает даже их аплодисменты. Ну, мужики меня просто захваливают, за что я им вынужден налить по сто пятьдесят. Остаток в две сотни тоже им отдаю, какие тут же и опорожняются. "Пузыря" мне не жалко, потому как приятно, черт возьми, слышать похвалу в свой адрес. Натура-то человеческая не предсказуема, и вряд ли какая медицина найдет тому объяснение. Ну, почему бы не сидеть дома, как все порядочные люди, и читать того же Лермонтова или своих современников. Так нет же, пугало огородное, рвусь к столу и к бумаге, тем более ночью, на что мне Гульчатай так пря-

мо и сказала, что она меня сонным зарежет, чтоб я ей не мешал спать. Наверное, она права, а поделаться с собою все равно ничего не могу. После смерти брата вообще мысли разные просто лезут друг на друга, и я не успеваю что-то выбрать и записать. Ну, как не записать, как братан брал меня с собою на паслен? Паслена мы наедались от пуза, приносили и домой. Ходили на речку, где брат учил меня плавать. Пригодилось, когда уже взрослым дядькой отдыхал в Алуште и в Сухуми, в Севастополе и в Евпатории. После, когда брата заграбастали в ФЗО в сорок пятом, старшим по дому остался я, ухаживал за сестренкой с пашневой весны до осени. Зимой же я ходил в школу и к домашнему хозяйству не касался - все ложилось на нашу матушку. Теперь уже и матушки нет, и брата нет, а жизнь идет и отсчитывает свои годы. Сегодня мне семь и пять, в тринадцатом исполнится шестерка, а в четырнадцатом и вовсе две семерки. Моей Гульчатой так стукнет семь и пять, как и нашей сестренке в Чебоксарах. Годы, правда, нас не щадят, так надо, чтоб хотя бы мы сами себя щадили. Я вот уже полгода не курю и не пью и не знаю, как такое воздержание на мне скажется. А ведь я смолил же, ишак бухарский, и горло заливал - не бутылками, так жбанам. Конечно, было это давно, когда после училища жил в общежитии, холостяцкий вел образ жизни и подлаживался под весь мужской общежитейский народ, какой умел работать по хрущевскому времени. Жить по Хрущеву, ну и закладывать за воротник, как это умел делать тогдашний целинный народ и прочий, рядом и по соседству. Вспоминать сейчас об этом где-то больно, а где-то стыдно. Конечно, молодость свое отгуляла, что-то отстукала, что-то отложила в сердце. Общежитейская жизнь оставила память хотя бы в том, что из-за какого-то расширения в сердце в армию меня не взяли, я остался на производстве вечным тружеником до самого моего "дембеля" за несколько дней до двухтысячного года. Мне уже было шестьдесят три, и, конечно, душа требовала покоя. Покой я этот получил до 2009-го, а там инсульт брата перевернул мне жизнь. В этой перевернутой жизни я нахожусь и теперь и не знаю, когда в ней все стабилизируется и станет на место.

ГЛАВА 11

В августе 2012-го у меня было хорошее "окно", в какое я и обратился к своему дневнику. Что-то просматривал из старого, материл себя за бездельность и литературное тупоумие, вынужденный, однако, записать внезапно нахлынувшие мысли:

"Да, убийца Лермонтова Мартынов родился в 1815 году и умер в 1875-ом. Ах, проживи столько Лермонтов, сколько бы Россия и человечество имело бы от него литературных шедевров типа "Героя нашего времени", "Демона", "Мцыри", "Маскарада", неоконченных романов "Вадим" к "Княгиня Лиговская", различных стихотворений, среди каких было и опальное "Смерть поэта", за которое поэту Лермонтову пришлось страдать от властей и самодержавного царя. Из стихотворного наплыва Белинский отчего-то выделил "Дары Терека", вынудив его написать Боткину: "Черт знает, страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт и что Пушкин умер не без наследника". Писано это было в 1840 году, когда поэт блистал многими своими произведениями и главным - "Героем нашего времени". Эх, именно Лермонтов больше всего мне сегодня читается и мною чтится. Может, потому, что история мало знает таких знатных людей, в таком "юном" возрасте, о каком говорил и Белинский, какие прославили свою страну, свое общество и свой век. Что-то сделал и Добролюбов, прожив всего двадцать пять, однако это мировые единицы, каких помнят человечество и история. Ну, а дань Лермонтову отдаю, потому как поэт за такую короткую жизнь создал целую энциклопедию русской жизни. Люблю, читаю, завидую, заодно же и спрашиваю себя: для чего жил, что сделал, что оставил свету? Листаю свой дневник и говорю: ни хрена ты, батенька Махно, не сделал и вряд ли сделаешь, поскольку в твои семь и пять не о литературном пути думают, а о своем последнем. Правда, чего тут кучеряжиться - семьдесят пять вовсе не ягодка опять. Наверное, и правда, пенсионерам делать нечего, так они и ударяют кто во что горазд. Дарований у меня особых нет, а вот писательская жилка отчего-то, паразитка, бьется. Бьется весь пенсионный период, равный пятнадцати годам. Да, пятнадцать - все-таки много, свободных, не загруженных, не обремененных, ничего мне не принесли в творческом плане,

хотя слово не раз рвалось к перу, перо - к бумаге. Не без того, конечно, что-то писал, мудрил, сочинял, но все для себя, чертов поп Гапон, да своего дневника. Для людей, для печати не получалось, кроме мелких прозаических вещей в журнале "Нива" и "Простор". Ну, когда это было... В 2007-ом и в 2009-ом, после каких пробежала целая пятилетка. А что ты, Саддам Хусейн, делал все это время? Ведь можешь же что-то марать, кропать, рожать? Прочитываю старые записи. Нет, они пригодны не только селедку в них заворачивать, но и чем-то завлечь читателя. Не думаю, что это только мне так хочется. надо привлечь китайцев, какие смогли бы в душе моей проделать культурную революцию. Я думаю, она сделана во мне самой жизнью, осталось только работать и искать тех, кто сможет обратить на меня внимание, на всю мою писанину. Мне подсказали, что такие люди есть, надо только обратиться в газету "Криминальные новости", в какой есть адреса таких людей. Надо рискнуть на их услуги.

2013-ый встретили мы с Гульчатой вдвоем. Никакого выпивона не намечали. потому стол пустовал без бутылки, чего прежде мы не допускали. хотя в шкафу стояло красивое в своей изяшной упаковке шампанское. Сказал своей Гульче:

— Дорогая Рабига Калкеновна, ударь хоть ты стопку игристого, все-таки Нозый год на носу.

Рабига сказала:

— Даром не надо, вовсе не тянет на такой подвиг. Ты вот завязал, надо, чтоб этот узел не развязался ни при каком празднестве. У мужиков силы воли жок, так что я не уверена, надолго ли тебя, Темиргали, хватит. У нас в поселке столько мужиков, какие завязали, закодировались и зарекнулись, а ведь некоторые сорвались и квасят сейчас втемную.

— Но я-то продержался, Дарига Каракесековна, уже целую половину года. значит, есть у меня сила воли.

— Но ты никогда не был выпивохой, Марат Идрисович, потому как в молодые годы учился в ШРМ, закончил КазГУ, крепко работал, был в почете и на хорошем счету на производстве до самого дембеля. Это ты в молодости два года в своем мужском общежитии поддавал вместе со всеми, потому както была неписаная традиция. Поддавать поддавали, когда отдыхали, а на работе никто вас пьяными никогда не видел, потому как железная дорога была и остается строгой к выпивохам всех мастей.

А застолье было богатым и даже красивым. Салаты из огурцов и помидорок, жареная курятина и яблоки на столе с бананами. Обезьянкину радость не признавал, но кусочек банана съел. Перед двенадцатью звонили дети и внуки с Алтая. Звонили мы сами в Алгабас, в Степняк и в Череп-

певец. Всех поздравили и всем желали, как и нам звонившие. Алтай просил нас приехать к ним в тринадцатом обязательно, поскольку мы не делись с 2009 года, соскучились, бабу с дедом хотят видеть даже правнуки. Мы с Гульчатой обещали.

Зимние месяцы у меня были расписаны просто: подъем в половине дня, зарядка, бритье электробритвой, умывание, за какими Гульчатой успевала убрать постель, марафетилась и готовила классический чай, за каким мне хорошо сиделось, пилося и думалось. После чая у меня надвигались мои неизменные три километра, какие я осваивал в любую погоду, на что уходило сорок-сорок пять минут. Медики говорят: ходьба полезна даже для старика моих лет, тем более с моим нестабильным сердцем. Не надо только спешить, тихий умеренный шаг поможет дольше продержаться на свежем воздухе, укрепит сердце, какое я когда-никогда потчую корвалолом. Слава Аллаху, к валидолу и нитроглицерину я не прибегаю, что делают многие сердечники, нося их даже при себе. Были и у меня колики, но мне отчего-то прописали какие-то кардиомин и корвалол, какие я употребляю каплями. Сердце от них успокаивается, не колет, не давит и не тревожит. Как оно поведет себя дальше, не знаю, только курево и алкоголь, какими я придавил сердце прежде, скорее и были причиной прежнего моего недуга в левой части груди. Правильно говорят: сам себя не побережешь, другим ты даром не нужен. Так что мой личный отказ от курева и выпивона, думаю, мне надо поприветствовать, хотя друзья Бугаев и Черепков и другие при встречах предлагают ударить по тридцать на рыло, от чего я отказываюсь, чем и обижаю своих прежних собутыльников.

Насчет поездки на Алтай к детям с Гульчатой говорили в конце двенадцатого, а на зиму тринадцатого - чаще чаще. И правда, три года у меня отобраны Алгабасом и братаном, в тринадцатом, по-всему, надо наверстывать наше длительное отсутствие. Гульче я сказал:

- Кадиша Калкен Ызы, вот съезжу в мае на годовщину братана, а там делай со мной что хочешь и вези хоть на деревню к дедушке. Годовщина — наш русский обычай, не будем его нарушать. Девять и сорок дней провели — люди довольны, бабки довольны, довольны и церковные тетки. Годовщину, думаю, проведем не хуже. Не проведем — сколько будет неодобрительных глаз, а то и прямых упреков. Деревенские, сама знаешь, какой народ...

— Вот, слушай, Марат Идрисович, ты меня сегодня как бы не десятым новым именем назвал. Представь, мне это крайне нравится, вот нравится и все. Слышишь новое имя и как бы на свет нарождаешься. Гуля, Гульча, Гульчатой - однообразно, скучно, привычно, никакого толчка ни в ум, ни в сердце. А человек разнообразен! Тебе я тоже не менее десяти новых

имен дала, и, мне кажется, они так тебе идут, как будто ты с ними родился. То, что у нас с тобой в семье с именами, свет белый не знает. И не узнает, потому как он скучный, однообразный, даже какой-то застойный. Людское же житие само по себе всегда предлагает новизну в семейных отношениях, в мечтах, в людском общении, в обществе и в политике. Жизнь это движение - не нами сказано, потому не должно в ней быть застоя ни в чем, ни в тех же именах, ни в мечтах, ни в планах, ни в той же политике. Правильно я мыслю, Исбасар Махмут-оглы?

— Истинно, Айша Токен-апа. Движение должно быть во всем, даже в нашей религии. Она тоже должна развиваться и двигаться в сторону познания человеческой личности и окружающего его мира. Боги со времен сотворения мира были в душе человека всегда, остаются они и теперь, но не в качестве бесспорного абсолюта, а в качестве спокойного мирового течения. Цивилизованный мир где-то находится на его гребне, а прочий, с африканской и арабской кровью, склонен к античному поклонению.

— Ну, эти тонкости, Тугамбай Корпеш-оглы, не для меня, главное, что мы не заикнулись на своих паспортных именах. Я вообще падка на всяческие предсказания. Говорят же в моем кругу бабки, что человек должен иметь несколько имен, это предохранит его от всех мирских напастей. А вот одна цыганка недавно, не знаю, откуда они к нам понаехали, так схватила меня за руку и говорит: “Вот скажи, товарка, мне твой год, месяц и день рождения, твоего мужа и твоего ребенка, и я скажу, что тебя ожидает в будущем. Скажу правду, о чем не пожалеешь”. Ну, сказала я ей все как есть, а она мне повествует в своей цыганской манере: “Вот слушай, дорогая. Муж у тебя родился седьмого марта тридцать седьмого, ты - двадцать пятого марта тридцать девятого, а сын — шестнадцатого марта шестьдесят первого. Смотри, что получается, у мужа день рождения — семерка, нечетное число, март — третий месяц — опять нечетка, а год и вовсе состоит из двух нечетных чисел, среди каких есть опять семерка. О тебе теперь. Двадцать пятое в сумме дает опять семь, март — нечетный, тридцать девять — обе нечетные. И теперь ваш сын. Шестнадцатое марта — один и шесть дают семерку, нечетную семерку, март — опять нечетный, а шестьдесят один в сумме чего дают — семерку! У вас всюду семерки, а это по жизни счастливое число, что значит, будете вы жить красиво и счастливо до своей по жизни семерки и даже далеко за семерку, что и ваш сын. Поверь, дорогая, так и будет. Ты будешь видеть глубоким стариком мужа и сына, потому как богом и природой вам начертано родиться в нечетные числа, месяцы и годы, какие в сумме дают семерку. А семерка по жизни и по божественному — счастливое число, так что ты и твоя семья будете счастливы во всем”.

— Ну и как ты отреагировала, Батима Клкеновна, на такие закидоны цыганки?

— Поверила и дала ей пятисотенную тенгушку, пусть пользуется, коль у нее такие добрые нам пожелания.

— Ну, за хорошие пожелания не жалко и заплатить. Мы, старые люди, падки надобрые вести, пусть даже и в таком, цыганском оформлении. Не знаю, как сбудутся ее предсказания, но насчет семерки она, подлая, в чем-то права. Я слышал это где-то, что семерка- счастливое число. До семерки мы с тобой дожили и даже перетянули ее, а вот насколько мы ее перетянем да и перетянем ли - бабушка надвое сказала. Бог нею, Салима-апа, главное, что она заставила нас поверить в счастливую семерку. Будет ли светить она нам так долго, как предсказывала твоя цыганка, мы не знаем — жизнь покажет.

ГЛАВА 12

Поминок на 13 мая я дождался и помчался в Алгабас на братанову годовщину. Гульчатай с собой брать не стал - оставлять дом без присмотра нынче не принято. По приезду созвонился с Григорием Ивановичем, он - со своей остальной братвой, какая и прибыла в назначенное время. Григорий Иванович так и доложился: явились, не запылились. Все что надо женщины написали мне на бумажке, и я выполнил все их пожелания. Перед нами стояли две газовые плиты, и женщины во главе с Татьяной, Галиной, Машей и женой Анатолия Аллой крутились возле плит отъявленными поваренками. Мы с Григорием Ивановичем ни во что не вмешивались, но помогали им что-то принести, что-то унести, что-то поднять и что-то опустить.

Народу пришло немного, кого-то из тех, кто был на прошлых поминках, не было. Взглядом прикинул: четырнадцать душ. Не много. Сказал Татьяне, не могут ли они пригласить еще кого-либо из своих знакомых или родни. Татьяна сказала: не стоит, тот, кто знал Ивана, пришел, а те, кто были сбоку припека, пусть таковыми и остаются. Я согласился со всеми доводами, какие поддержали и Григорий Иванович с Машей.

На этот раз отчего-то не стал налегать на “родимую”, а взял исключительно коньяк. Думал: годовщина, чего жмотиться? Пили его с причмокиванием, и я не пожалел, что разорился на такой напиток. Григорий Иванович тоже ласкал коньячок взглядом и губами, не отставали от него Маша, Татьяна с Галиной и все остальные. Непьющих, кроме меня, не было, и мне даже стыдно было перед публикой. На прежних поминках они видели, что я пил вместе со всеми в том же количестве и на том же уровне. Теперь же я наливал себе только сок, благо какой ничем по цвету не отличался от коньяка. Заметил ли кто-то из сидящих подлог - не знаю, но думаю, что не заметил. На деле же мне ужасно захотелось хряпнуть коньячку так, чтоб уши зашевелились. Делать же этого не стал, потому как дал зарок себе, моей Гульчатай и братану на его могиле. Кучеряжиться не стал, потому как боялся осуждения самого себя и от братана Ивана из его далекого царства Аида. Перед гостями следовало однако что-то сказать:

- Дорогие мои, давайте хорошо помянем моего брата. Прошел уже целый год после его смерти, пусть земля ему будет пухом. Он жил с вами, работал с вами, курил и выпивал стопку с вами же. Словом, он был настоящим мужиком, который родил четырех дочерей, вырастил их, похоронил вторую жену и вот целый десяток лет жил один-одинешенек, что мужику противопоказано. Будь жива жена, может, он жил бы и до сих пор, так что женщина с мужиком должна быть, как и мужик с женщиной. Это ведь природа так распорядилась. Братан нарушил этот порядок и схватил инсульт. Давайте, друзья, поминайте Ивана, и он будет всем нам благодарен.

Поминали все как положено. Я просил наливать по четвертой и пятой стопке, сам же и наливал. Кто-то рюмку свою отставлял, кто-то и подставлял. Конечно, не молчали, что-то говорили и вспоминали, как выразился Григорий Иванович, вспоминали дела давно минувших дней, преданья старины глубокой.

После проводов всего поминального товарищества со мной и моей родней остались неизменные друзья Григорий Иванович со своей женской троицей, какой я благодарен за все заботы по проведению поминок. Женщины умели делать это классно, чего бы я сроду не сделал. Своим маленьким кругом посидели еще какое-то время, повспоминали Ивана, пожалели о том, что не приехала ни одна из его дочерей. Я возникать не стал, думал, пусть это делают другие. Они дочерей брата моего знали и пусть делают оценку их поступкам. Пусть судит их жизнь и Аллах, поскольку все они бывшие казахстанки. Как он их осудит - может, жизнь покажет. Всей компании я наливал напоследок пятизвездочного, себе же, как и прежде, наливал сок. Что я завязал, вся компания уже знала, не осуждала, но и не приветствовала. Татьяна была первой противницей трезвого образа жизни, какой влек за собой неинтересного, скучного, не нашего, а какого-то библейского человека, какие в миру водятся очень редко. Нынче у нас мир другой, как и его люди. Я не стал говорить, что не хочу повторить подвиг своего брата, какому лишний стопарь все-таки навредил и даже загнал его в могилу. Береженного Бог бережет, но и самому к этому надо стремиться, особенно теперь, когда мне стукнуло уже семь и шесть, и когда до восьмерки остался всего лишь какой-то шаг. Хотелось бы дотянуть до этих восьмидесяти, но стопарик никак этому способствовать не будет. О том медицина говорит, да и сама жизнь. Молодым, может, и правда, сам Бог велел ударить, а Хоттабычам надо бы побережечься, хотя они в чем-то и всемогущи.

Словом, обо мне речи и не велось, но я заставлял всех ударить так, чтоб не узнавать друг друга. Дома их почти рядом, не заблудятся, а хорошо по-

мянуть братана надо, потому как это годовщина, а дальше все равно станет забываться. Компания меня слушала, выпивала, громко говорила и вспоминала моего братана. Плохого в нем ничего не находили, а стопарь на пенсии не мешал, а даже согревал кровь. Что удивительно, братан мой всегда знал меру, не умел перебарщивать, и качающимся его никто никогда не видел. На моем семидесятилетии, что отмечал я в своем Жанадыре и куда приехали оба братана. Иван тоже знал меру, хотя я наливал ему коньячку под самый поясок. Не позволял себя брат уходить в аут, пил стопку-другую и отставлял рюмку. Когда мне было семь с нулем, а братану столько, сколько мне сейчас, отчего от выпивона надо бы побережться, что я и делал. Насильно меня не заставляли и просили, чтобы я все-таки не забывал Алгабас. Конечно, за могилой братана они будут присматривать- просто так, и в родительские дни, но и родной брат должен навещаться, кланяться холмику и когда-никогда положить свежий венок.

Конечно, говорил я, так все и будет, потому как мы братья и с детства любили друг друга. Когда я повзрослел, помогал братану какой-то денежкой, потому как у него было аж четыре дочери и им всем надо было чего-то дать куснуть и одеть. Девчонок халам-балам не оденешь, требовалось нечто модное и современное, какое и стоило современных денег. Брат от помощи не отказывался, мы с женой крепко пахали, и у нас был только один сын. Гульчатая сама предлагала помощь моему братану и по-своему выделяла мне какие-то средства. Какие удовлетворяли братана - не спрашивал, но видел, что брат светлел, веселел и даже готов был обнять всю вселенную, в какой были я и моя Гульчатая. Когда дочери братана разъехались, я так же не оставлял его без помощи. Наши две пенсии с Гульчатой нам делали погоду, железнодорожники не скупились на пенсионную добавку. Братан и своей пенсией был доволен, но, коль перепадала манна небесная, не отказывался, однако осуждал и просил не тратиться зря. У него есть все, дочерям не посылает, да и они не просят его об этом, потому как у них свои семьи, свои мужья и свои дети, к тому же они сами работают. Ну, коль так, говорил я братану, то и жаксы, лишняя копейка тебе лично не помешает. Саган кант, май керек? Тагада бир жарт керек? Керек. Потому как ты сосеешь ее как бы не с самого ФЗО, когда закончил его и работал на "Казсельмаше". Теперь все это только вспоминалось, но я не делился своими мыслями. Их не знал и брат Анатолий. Другим, думаю, было неинтересно это слышать, потому как все это было в прошлом. В прошлом росли дочери Ивана, росли мы сами, сами работали и сами же делали свою жизнь. В 2009-ом жизнь эта сразила Ивана, приковав к нему и меня на целых два с половиной года. Как я их выдержал, не знаю, но

полжизни своей потерял точно. Сейчас это только память, а ведь была же и горькая явь, за какую я, кажется, и расплачиваюсь своим здоровьем...

Уже дома, возвратившись после поминальной годовщины, развернул свой дневник и прочел последние записи. Что-то нравилось, что-то хотелось пнуть, чтоб оно летело до самого Алгабаса. Никакого таланта в себе не обнаруживал, но какие-то теплые мысли теплились. Ну, теплые - громко сказано, а стоящие внимания - это точно. В последней записи упоминалось об убийце Лермонтова Мартынове, какой после Лермонтова прожил еще тридцать четыре года. А если бы Лермонтов прожил эти годы? Наверное, Лермонтов обогнал бы Пушкина и еще при жизни стал бы богом литературы, но жизнь и судьба, видно, не терпят такого великого возвышения живого человека. Хочу же и я, черт возьми, как-то высветиться, выйдя в свет своей печатной книгой. Прослышал, что могут это сделать знающие люди, какие есть в соседнем городе Комыртау. Посмотрел записи, скомпоновал их, что-то перетасовал. На вид вроде неплохо, а по сути, по нутру-то, какая у меня завязка и начинка? Только знающие люди о том и могут сказать, но до них еще надо добраться.

Как-никак, а добираться до них с моими записями все равно придется. Все записи скомпоновались в книгу, какую и хотелось бы выпустить в свет. В этих записях больше фигурировал мой братан Иван, какого я почему-то сравнивал с лермонтовским Печориным. Не знаю, почему, только в памяти зациклился именно этот герой лермонтовского романа. Может, потому, что из предисловия к "Герою нашего времени" автор сообщает о смерти Печорина где-то в Персии или за нею, а это давало ему право распорядиться его записями, какие он получил от Максима Максимыча. Ну, совпадения тут со мной никакого, только смерть Ивана совпадала со смертью Печорина. На деле же братану моему до Печорина - что мне до Лермонтова, какой, однако, якобы использовал записи покойного Печорина, вылившиеся в художественные повести, над какими автор поставил свою фамилию, предваряя свое действие словами: "Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог".

Братан мой отродясь ничего не писал и даже не помышлял это делать, потому как имел всего лишь семиклассное образование и ФЗО с техническим уклоном. Повзрослев, всю жизнь шел по этой технической дороге, какая его кормила, одевала, где-то ему воздавала. Конечно, проще было бы сравнить дружбу Печорина с Максим Максимычем, поскольку они долго жили и общались на одной квартире, что-то смахивало и на нашу жизнь с братаном. Братана теперь не стало, но я остался, и не с чужими записями, а с личными, моими кровными, какие никто никогда в глаза не

видывал и какие я никогда не читал перед кем-то, как это делал Руссо. Ну, странными люди были всегда и везде, одним из них, наверное, являюсь и я, простой и неприметный житель Жанадыра, такого же неприметного железнодорожного поселка у нас в Центральном Казахстане.

Что хотелось бы сказать своей книгой? Нет, героя нашего времени здесь не будет, не будет и философских рассуждений о жизни, времени и о себе, о богатстве и бедности отдельного человека и общества в целом, о малой и большой политике в своей стране и в мире. Речь в книге будет только лично обо мне, прожившем две семерки, вращавшемся в кругу различных людей - простых, сложных, больших и маленьких, известных и просто приземленных, живущих своей маленькой жизнью, какой я жил прежде, живу и теперь. Одним из таких людей с маленькой и неприметной жизнью за пятилетие стал для меня Григорий Иванович, какого я сравнил бы с Максим Максимычем. Та же простота и верность дружбе и никакого рационализма в дружбе и поступках. Григорий Иванович с первого же дня моего пребывания в Алгабасе курировал мои дела и поступки, сам беседовал с больным Иваном и вносил какую-то надежду. У меня такого таланта не прорезалось, отчего я и костерил себя как тупого барана, какой пасся иногда на огороде Григория Ивановича. Григорий Иванович говорил, что приговорит барана к казни с первыми же морозами. Приговорил он его в наступившем двенадцатом и даже принес нам с Иваном что-то полакомиться. Под барашка, конечно, мы ударили, налили и Ивану, какой хвалил и стопарик, и баранинку. Григорий Иванович был рад похвале больного Ивана, а я так вообще - в благодарность пожал Григорию Ивановичу руку. У нас таки любят благодарность, материальную и ритуальную, как, наверное, и у прочих народов, только у нас они как-то явственнее.

Насчет каких-то бумаг и книги, где будут Григорий Иванович, его Маша, Татьяна и покойный Иван, Григорий Иванович ни сном ни духом не знает, не ведает и, может, никогда не узнает, пока я не подарю ему, да и всей его троице по книжонке с моим именем на обложке. Удивить их хотелось бы, как всех моих друзей и родственников. Как ониотреагируют, не знаю, не понимаю и не представляю, но, наверное, по-своему вознесут меня не до небес, так до их алгабасских высот, где сколько-нибудь известный человек ценится по-особому. Фамилий их в книге нет, но узнать их можно только по именам, какие всегда вчетвером вместе в горе и в радости, на пиру и на погребальных ритуалах. Вчерне книга у меня готова, осталось только вывести ее в свет Божий. В тринадцатом не планирую, чертоводюжинный год, каким не буду чертыхаться, поскольку он все равно

мне ничего не даст. Так сказала моя Гульчатай, а ей посоветовали бабки в се кругу. Ну, коль советуют бабки, значит, они знают, что за Год Змеи, у какого лишь поползновения и никаких прыжков, Четырнадцатый год - другое дело, здесь Лошадь скачет во всю прыть, какая и донесет меня до известности. Пусть пролетят зимние месяцы, а там, по весне легче будет собраться с бумагами и с памятью, чтоб не опозориться перед издателями. Все-таки я дед, во сто шуб одет, а по весне у меня появится какой-то живой настрой души и сердца, и я смогу отвечать на вопросы издателей, что-то подчистить в моей писанине. Прежде надо убрать длинноты, они книгу не красят. Читая "Войну и мир", я, признаться, устаю. Может, оттого, что слишком стал стар, а может, — что тупой и просто не научился читать. Конечно, "Война и мир" - классика, и мне разбираться в хитросплетениях классического литературного жанра с его языком, тематикой и действиями не дано, как, видно, просто все - язык, тема, действия, диалоги. Другим я вряд ли буду и вряд ли чего создам лучше этой своей повести. Будь я моложе, может, и впрямь, сообразил бы героя, но именно нашего времени, героя сегодняшнего дня, какому по нутру мобильник, ноутбук, компьютер и другая техническая адьюктура, какая общается с невидимым человеком за сотни и тысячи километров, позволяет видеть его, приветствовать, а,то и просто строить рожи. Таков нынче век.

ГЛАВА 13

2013-ый ничего существенного нам с Гульчатай не принес, однако в первый же осенний месяц мы с Гульчей-апой помчались к детям на Алтай. По телефону предупредили, когда выезжаем. На той стороне провода обрадовались и сказали, что встретят нас в самом Барнауле, потому нам не придется пережидать часовой стоянки и еще двадцати минут хода до Новоалтайска. А до этого электричка доставила нас в Караганду в шесть вечера. Пригорюнились мы с Гульчатай: наш поезд "Караганда-Новокузнецк" отправляется в половине одиннадцатого, то есть через четыре с половиной часа. Повозмущались и даже пожелали железной дороге черной оспы за такое бездумное расписание. Поезд до Новокузнецка прибывает в Караганду в семь утра и целых пятнадцать с половиной часов стоит в Караганде на отстое. Чего его надирает столько стоять? Оба с Гульчатай развели руками. Ну, чего бы его не отправить через шесть-семь часов после прибытия? За это время можно не только осмотреть поезд, но отмыть его, вычистить и вылизать то, чтобы пускать поезда до Новокузнецка хотя бы через день, как было прежде, установив график: один раз в четыре дня. Так вот и шлундает этот поезд один раз через каждые четыре дня. Пассажиру хоть в петлю полезай, а поезд "Караганда-Новокузнецк" доставит его и на Алтай и в этот город только через четыре дня после прибытия в Караганду.

Отсидели мы с Гульчатай на карагандинском вокзале полные четыре часа. Гульчатай как-то намекнула: хотя бы корку какую-нибудь проглотить, только придется воздержаться до посадки в вагон, чтоб на вокзале не бросаться людям в глаза и чтоб они не видели, как мы жуем, плямкаем и запиваем еду лимонадом. Народ на вокзале разный, какой может чему-то позавидовать и просто сглазить. В купе такого сглаза не будет, потому как там такой же поездной народ, на таких же правах, словом, в поезде другой коленкор.

В назначенное время объявили посадку на наш поезд, и мы с Гулей без помех устроились на своих местах. Постелились, уложили подушки и на столе Гульчатай развернула свои припасы. Ели с аппетитом, потому как

отчего-то зверски проголодались, хотя и не разгрузили вагон угля. После позднего ужина пили классический чай моей Гульчи. А после долго не спали, шептались, как встретят нас дети и кто именно из них: сын, внук, внучка, ее муж или сразу вместе. У всех у них есть собственные машины, все асовски их водят, и добраться им до Барнаула не составит труда.

В общем, ехали мы без ЧП, народ в вагоне был тихий, умеренный и почему-то сонный - спали почти на всех полках даже белым днем. В Щербактах была противная часовая остановка, о какой объявили по местному радио. Из вагона никого не выпускали даже после всех таможенных манипуляций с потрошением сумок, какие обнюхивали красивые собачки. В Кулунде операция повторилась, но здесь поезд по графику всегда стоит девяносто минут. Время выдержалось строго, и мы только в окно видели вокзал, привокзальную площадь и привокзальных торговцев, к каким мы с Гульчей обращались не раз, когда поезд ходил по четным числам. После Кулунды шли какие-то станции, какие всегда пытаюсь запомнить без записи, но перед самым Барнаулом запомнил лишь Ребриху, от которой до столицы Алтая было не более двух часов.

В самом Барнауле прямо в вагон вошли наш сын и муж внучки Марины, какие обняли нас и взяли наши вещи. Объезжали через мост уже в темноте, и я не смог полюбоваться большой сибирской рекой, какой любовался всегда, когда приезжал в эти края.

За полмесяца пребывания в Новоалтайске побывали в гостях у Марины, понянчили ее девчушек - наших правнучек, одной из каких было шесть годиков, а другая в свои шесть месяцев только-только училась сидеть. Посетили и меньшую сестру Гульчатай Антонину, которая была крайне рада нашему приезду. У Антонины мы ночевали по ее просьбе один раз на одной неделе и один раз — на другой, хотя сын хотел, чтобы мы оставались у него.

Тоня с мужем - такие же пенсионеры, как и мы. Муж Антонины бывший железнодорожник, лет тридцать водил грузовые и пассажирские поезда, из каких десять лет приходится на агадырское депо, а остальное — на новоалтайское. Живут красиво, богато, в собственном доме с баней. гаражом, сараем, большим огородом, в каком не растут разве только кокосы и бананы. Ну, трудяги Тоня и ее муж умели пахать не только для себя, но и для своих дочек Кати и Наташи, которые жили на отшибе в самом Барнауле с мужьями и детьми. Тоня жила в тихой, неасфальтированной Чесноковке, где ни шагов, ни шума машин. Может, эта тишина и толкает Антонину на стихи с прозой, какие в 2013-ом и выродились в стихотворный сборничек "Причина ние о любви". Хорошая, красивая обложка, мягкий переплет, 130 страниц.

Умеют в Новоалтайске издавать книги. Поинтересовался, кто же такой смелый? Издательство ООО "Вечерний Новоалтайск" ничего мне не говорило, но попасть мне, казахстанцу, к ним хотелось бы: а вдруг им пришелся бы со своей книгой? Ну, не знаю, кто такой смелый бросится на мою книгу, а Антонина свою мне все-таки подарила. Ну, если где-то сработают и мою писанину, я уж точно переkreщусь, хотя никогда этого в жизни не делал. Тоне не говорил, что я тоже стихами балуюсь и болею, и, конечно, Тоня не подозревала о моих способностях литературного плана, что я шуруплю что-то на прозаической дорожке. Тоня прожила в Жанадыре сорок пять лет, родилась в нем, родила своих девочек и вот только двадцать лет как она стала россиянкой. Ее старшей, Катюше, в 2014-ом стукнет сороковник, а Наташе - тридцать пять. Их детки тоже учатся в институтах и оканчивают одиннадцатый класс. Словом, все у Тони хорошо по жизни в семье и с детками, потому и стихи приходят в оптимистическом настрое.

Уже дома, в Жанадыре прочел стихи Антонины с чувством, с толком, с расстановкой. Одно из них почему-то увлекло, в целом, увлекли все, но это почему-то стопорнулось в душе. Вот стопорнулось и все, чем-то задело, над чем-то заставило задуматься. Называлось стихотворение "Обо мне". Наверное, увлекло все-таки названием.

*Я — такая как есть
И другую не стану,
Не по сердцу мне лесть,
Не прельщаюсь обманом.
Не предам я друзей,
Помогу даже в малом,
В буднях горестных дней
Стану вечным причалом.
Каруселью года кружат в ритме усердно,
И такая всегда я останусь, наверно.*

Хорошее, открытое стихотворение, душевное, искреннее, личное. Да, а что же ты, питекантроп тупорылый, о себе сказать сможешь? Кто ты есть и что значишь в этой жизни? И ведь не додумался же, пещерное создание, написать нечто подобное о себе. Если я сам о себе ничего не скажу и не покажусь на людях, людям этим я и вовсе даром не нужен.

Семьдесят семь лет прожил, и кто о тебе, ишак дормидоновский, знает? Гульчатай, друзья да дети, остальным я нужен, как собаке пятая лапа. Известность надо заработать — это же аксиома.

Читая сборник Антонины, не нашел ни единой о ней рекомендационной строки. Не написали, мол, такая-то немолодая тетка в свои шестьдесят пять не зря тратит свое пенсионное время на семью да на борщи с кашей, а пишет хорошие стихи о жизни, о современниках, о себе, об интересных друзьях, с кем интересно жить и интересно общаться. Стихи живые, красивые, прочувствованные, талантливые, о днях наших и прошлых. Впрочем, редакторы знают, что писать, но не написали. Что ни говорите, а приятно что-то прочесть о себе доброе и хвалебное.

По приезду из Алтая начали с Гульчатай обживаться да пристраивать подарки алтайцев. В октябре-ноябре звонил в Алтабас, беседовал с Григорием Ивановичем. У них с Машей все жаксы, для беседы и хорошего застолья не хватает только меня. Других друзей у него нет, а у его женщин свои разговоры и свои интересы. Закладывать не закладывает, не зарекался, не давал себе слова покончить с выпивом раз и навсегда, как сделал это я, а без друзей она, сердешная, не идет. Со мной она бы полилась без останков, а сам на сам у него не получается. Думаю ли приехать? В зиму, Григорий Иванович, не ожидай, а лето четырнадцатого покажет. i4не и самому хочется повидать алтабасских друзей, побывать на могиле брата-на, лишний раз поклониться его памяти.

Наступивший четырнадцатый встретили с Гульчатай как и прежний, тринадцатый. На столе так же было все и даже чего не хотелось. “Пузыря” не было ни белого, ни красного, не стали ставить на стол и шампанское для виду. Январь в Жанадыре не морозило, и вообще, нынешняя зима вроде не собиралась одевать нас в шубы. В магазин ходил даже без рукавиц и удивлялся, что мороз щадит мои руки. Днем мороз держался девять-одиннадцать, иногда заскакивал за тринадцать и пятнадцать, но разве это наши казахстанские морозы? Да это какая-то извечная Кызыл-Орда, Тараз и даже Ташкент, какие морозов отродясь не встречали. Что это за морозы, когда малышня ежедневно становится на лыжи и кружится возле своих домов и во дворе... После своих привычных трех километров я сел за дневник и доверял ему свои мысли. Что ж, книга уже готова. Чего человеку еще? Передача Малышевой говорит о здоровье и как его беречь. Перво-наперво бросить пить и курить. Я это уже сделал. Свои ежедневные три километра делаю, зарядкой по утрам занимаюсь, стчего, может быть, и не жалуюсь на здоровье. Малышева что-то говорила о пользе меда, так я теперь пью и его. Не пью, а ем ложечкой из стакана, как какую-то манную кашу, запивая добрым чаем. Не знаю действия меда на здоровье, только вижу, что мед слишком сладкий, значит, в нем много сахара, что может привести к сахарному диабету. Спросил о том Гульчатай.

— Ты у Малышевой, Тюлебай, спроси, а проще - у наших медиков. О вреде меда я не слышала.

К медикам не ходил и ничего не узнавал. Вообще, медпункт я обхожу уже как бы не лет пять, я их не тревожу, не тревожат и они меня. Коль схватил кашель - лечу чаем и кипяченым молоком с медом, о боли головы - понятия не имею, зубы не тревожат, а коль, когда защежит сердечко, бросаю на него двадцать-тридцать капель корвалола, и все проходит. Вычитал о болезни Жанны Фриске. Серьезная болезнь. Так она же вдвое моложе меня. и к ней цепляется такая зараза? Несправедливо жизнь поступает, как она несправедливо поступила с Ноной Мордюковой, Надеждой Румянцевой. Людмилой Гурченко, Натальей Гундаревой, Валентиной Толкуновой, Шуриком и Игорем Квашой. Мне седьмого марта четырнадцатого исполнится семь и семь, а в целом, аж три семерки подряд! Семерки, говорят, счастливые числа. Их у меня будет сразу три. Что они мне принесут? Мне бы хотелось, чтоб они принесли мне только мою книгу. Я прошу ее у жизни. у общества, у издателей. Интеллект в моей жизни и в моем слове вроде налажен, потому книга достойна выхода в свет. О том вроде мечтал и Лермонтов, какой, по его признанию, поставил свою подпись под произведением или под записями Печорина, какие Лермонтов якобы скомпоновал в повести, вылившиеся в "Героя нашего времени". Прочитал предисловия Лермонтова, подумал: у Пушкина вряд ли хватило бы ума и такта, у какого был свой Печорин, но более прозаичный, более скучный, более дворцовый - Онегин. Ну, Пушкин умел расстаться с ним, как я с Григорием своим. С Григорием Ивановичем из Алгабаса мы год как уже не виделись и увидимся ли в предстоящее время - не знаю. Семьдесят семь мои - все-таки большие годы, до каких не дотянули многие великие личности прошлого и современных лет. Жить бы им да жить, так ведь жизнь распорядится по-своему. Как она распорядится моею жизнью, не представляю, но не хотелось, чтоб это случилось в Год Лошади. Вот доскакать бы до следующего Года Лошади, ах, какой бы был великий жизненный подвиг! Сказал о том своей Гульчатай, какая по-своему напутствовала меня:

- Многого ты хочешь, Тюлебай Исбасарович. Запомни, от Лошади до Лошади проходит целый жизненный цикл в двенадцать лет, как и от Змеи до Змеи или от Дракона до Дракона. Тебе сейчас, Тугамбай Сагентай-улы, семь и семь, а через двенадцать лет тебе стукнет аж восемьдесят девять! Возраст Хоттабыча! Не встречала таких смелых в нашем поселке, как и в мире, известных человеческих судеб. Не представляю, почему судьба должна удыбнуться именно Роману Рымарю, хотя, кто знает, что там у тебя на роду написано... В церковь ты не ходишь, ни после обеда, ни на ночь не мо-

лишься, Бога ни о чем не просишь, просто живешь жизнью обычного пенсионера, какой ладит с жизнью, с друзьями, с местным акиматом, куда тебя постоянно приглашают как ветерана и как грамотного дедугана с университетским образованием. Конечно, не один ты такой грамотный в поселке пенсионер, только относятся к тебе уважительно и доброжелательно.

Да, восемьдесят девять - это все-таки слишком. Ну, до голой восьмерки дотопать - куда ни шло, а с таким большим прицепом - не представляю, как выглядят мужики в эти годы. На телеэкране видел отчаянного и боевого Владимира Зельдина, какой еще снимался в свои девяносто пять в кино "Сваты". И все-таки хочу дотянуть до второго Года Лошади. Пусть меня осудят моя Гульчатай, мои дети и внуки, мы с Гульчей помощи ни у кого не просим, никому не мешаем, со своей старостью боремся сами, а коль я дам дуба, Гульчатай же глаза мне и закроет. Она посильнее меня душой, телом, сердцем, потому как никогда не курила и не заливала себя косорыловкой, что делал я почти всю свою сознательную жизнь. В старости за это надо расплачиваться, что и делают некоторые известные мне товарищи, а меня вот Бог милует - ничто меня не давит, не колет, не валит. Не знаю, кого за то благодарить, только себя - за последний свой поступок с курением и выпивомом - непременно стоит. Мое воздержание докатилось уже до двух лет. Срок не ахти, но подвиг сделан. Насколько меня хватит — покажет жизнь, но срывов не намечалось и не имело места. Как поступят дальше со мною жизнь и повседневность?

А жить все равно хочется. Семь и семь мои, считаю, невелика победа. Во-первых, я мало чего сделал в писательском плане, каким начал заниматься только на дембеле. Записи, какие делал смолоду и после, в дневнике и в тетрадках отдавать, как это сделал Печорин, не собираюсь, как не смогу сжечь их, как это сделал Гоголь. Нет, я и не утоплю их, как утопил тургеневский Герасим свою любимую Муму. Записи я просматриваю и что-то рождаю новое, живое. Как будет с ними на этот раз — не знаю, не ведаю, не представляю, но увидеть себя в печати хотелось бы страстно и позарез.

"18 января 2014-го. Слава Богу, новогодние дни отгуляли, но елка в железнодорожном парке нашего Жанадыря, где-то семиметровая, красивая и нарядная, с электрической подсветкой, пока остается стоять.

Возле нее не видно ни одного взрослого человека. Детишки, правда, появляются, кто с санками, а кто и вовсе без всякого снаряжения, катаются вокруг елки, и, кажется, другого счастья им и не надо. Детвора одета в красивые и крепкие одежды, что заставило сравнить с моим детством сорок пятого, сорок седьмого, когда в зиму вообще мне нечего было накинуть на

плечк. Из старого отцовского полушубка матушка сообразила мне какой то кургузый кожушок, в каком я шлюндрал в школу и на уличные прогулки. Новогодних елок мы в глаза не видели все военные годы, и только 1946-ой встречали с какими-то ветками. О химических елках в то время свет белый не знад-не ведал, а в моем ауле никаких елок и никаких сосенок отродясь не росло. Какие елки? В магазине не было спичек, вот не было, хоть под землю провались в их поисках. Но люди как-то выживали, как-то выходили из положения. Брат мой Иван со своей братвой научились делать так называемое кресало. Отрубленную из ножовочного полотна железку, что применялась на комбайнах и сенокосилках, сбивали в квадратные ножи, зубилом срубали режущую часть и оставляли чистую металлическую планку-пластинку, какой и высекали из простого речного камешка величиной с яйцо огонь с помощью обычной фуфачной ваты. Так вот и жили какое-то время, пока город не поставлял длинные спички надлинной фанеркс с отдельной теркой. Сегодня такие спички помнят разве только мои сверстники, и то, если они остались в моем ауле Кенбидаик, где я не был целых шестьдесят семь лет. Как было в других селениях - не представляю, нс мне запомнилось со спичками лишь то, что было в моем ауле.

То, что мы с мамой и сестренкой выжили и не замерзли, теперь я благодарю только своего братана, царство ему небесное. Удивительно и просто непонятно было положение со спичками в моем ауле то ли в 42-ом. то ли в 43-ем - все равно в военную годину только люди ходили друг к другу и спрашивали спички. Может, кто-то был умным и предусмотрительным и запасся спичками с началом войны, помня еще войну семнадцатош и восемнадцатого годов, рожденных Великим Октябрем. Теперь они были глубокими стариками, а ум у них работал в нужном направлении, Да, военная житуха вспоминается мне все чаще, эпизоды какой так и хочется тиснуть в сегодняшнюю писанину. У всех ли творческих людишек, пробующих свое перо, такие же намерения, не знаю, только меня эти намерения не оставляют в покое.

Что мне остается выпросить у жизни? Продли мне жизнь, мой жизненный дзенадцатилетний цикл, о чем говорила моя Гульчатай, и я воспою твоё божественное величие на Земле и во Вселенной. А в целом, чего это я о себе так грустно и так плачевно? Как будто в этом году намылился отброскть копыта? Вот возьму и попрошу Год Лошади: домчи меня, дорогой, до следующего бодрым и здоровым, не тормози! Сникерсни! И домчи со своими годами-собратьями до следующего Года Лошади, года коня, какой, по оценкам астрологов, принесет нам, казахстанцам, счастье, богатство и величие не только в СНГэвском мире, но и во всем планетарном".

ГЛАВА 14

"7 февраля 2014-го. Прочел последнюю страницу тринадцатой главы своей повести и поставил точку, о чем и доложил своей Гульчатай. Она поблагодарила меня и скачала, что, наконец, я не стану ночью схватываться с постели, тыкаться в зал и включать свой светильник. Как бы я не действовал тихо и осторожно, она все равно просыпается и не спит, кгда меня нет рядом. Над тринадцатой главой я, однако, стал колдовать и решил, что повесть продолжу егче одной главой. Ну, во-первых, тринадцать что-то напоминает чертову дюжину, а у черта своих проблем до черта, какие он сможет свалить и на мою книгу, и ее просто не напечатают. Цыганкины предсказания могут и не сбыться. Тринадцать - две нечетные цифры, что, по цыганскому предсказанию, хорошо для всего, но в сумме, однако, эти цифры дают четное число, чего цыганка не приветствовала. Мое усердие с новой, четырнадцатой главой Гульчатай усекла и возмутилась:

- Ты опять, Афанасий, за свою книгу взялся? Сам же сказал, что тринадцатой главе поставил точку и со всей книгой готов рвать в областной Комыртау, где некоторые товарищи и должны определить ее судьбу, Чего же мы такие непостоянные?

- Ах, Лукерья, проанализировал я некие положения с этой тринадцатой главой и понял, что она смахивает на чертову дюжину. Вспомнил я и твою цыганку, и что-то тут не ладится с ее летоисчислением, отчего и решил книгу продлить еще одной главой. Пусть она будет четной, четырнадцатой, а в сумме, по-цыгански, она даст нечетную пятерку, что и должно благотворно сказаться на всей книге.

- Ну, коль ты так решил, Герасим, то надо, чтоб я прочла модебен во исполнение твоих желаний, и даже, чтоб ты поместил эту молитву в своей книге. Места она много не займет.

- Ну, Дарья, коль ты так желаешь, то пусть и будет по-твоему. На вот эти записи и читай над нами свою молитву, как намерилась.

Моя Гульчатай-Дарья-Лукерья взялась за свое дело, какую я оставил одну со своей книгой, а сам пошел в газетный киоск за газетами "Криминальные новости", "Свободаслова", "Авиатрек", где не разделал упрек киоскерам за отсутствие у них большой и хорошей газеты "Ярмарка". "Кри

минальные новости" есть, а вот "Ярмарку" они почему-то обходят. Почему - не знаю, только киоскер и не слышал о таковой.

По возвращении из киоска, Лукерья-Дарья отдала мои записи и заодно положила передо мной молитву, какую она только что прочла. Я не стал кучеряжиться и тут же эту молитву перепечатал на чистовую:

"Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое;
Да придет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе;
Хлеб наш насущный, дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;
Ибо твое есть царство и сила, и слава вовеки. Аминь!"

Посмотрел, почитал - ничего криминального, хорошая молитва, в какой не так уж и много просьб к Всевышнему. Не знаю, как посмотрят на молитву товарищи-издатели, только я не Бога прошу об издании моей книги, моей повести. а именно их, они люди, а значит, больше поймут меня, чем небесные духи.

Как будет с книгой на самом деле - в уме не укладывается, но надежды я не теряю. Одна беда, что издатели не встречали прежде Романа Рымаря. и как они с ним поступят - не представляю. Мне лично, как автору, ккига понравилась, только как в том убедить читателей - не знаю. У себя на периферии я мелкая сошка, потому ко мне и внимание будет оказано мелкое. Как сложится все на самом деле - гадать не буду, а вот рвану по теплу в свой областной центр, а там пусть издатели делают со мной и с моей повестью, что считают нужным. Я по-прежнему живу в своем тихом Жанадыре, так же тихо и скромно пишу, коротая свое бездонное пенсионное время, какого у любого пенсионера вагон и маленькая тележка. С домино и посиделками во дворе с такими же пенсионерами я давно завязал и полностью отдался писанине.

Чем я занимаюсь, пенсионеры не спрашивают, а только возмущаются моим отсутствием, что я не поддерживаю их доминошную компанию. Я отшучивался и говорил, вот доживут они до моих семь и семь, так тоже забудут о домино и прочих посиделках.

На деле меня, и впрямь, тянуло к пенсионерам во дворе, но мысли, перо и бумага перетягивали, и я оставался дома, в своем кресле у компактного журнального столика, у какого мне хорошо обедалось и писалось. Повесть эту сварганил за девяносто дней, два дня вычитывал, что-то правил и вычеркивал. Последнюю же главу состряпал за день и удивился своей писучести. Подумал: наверное, это остатки моего писательского талан-

та, какой начал проявляться на моем последнем жизненном пороге. Не знаю, сколько мне отведено, только Лошадь просил я домчать меня до следующего Года Лошади, бежать до какого надо аж целое десятилетие с прицепом. Смогу ли удержаться хотя бы на сегодняшней Лошади - не скажет ни один экстрасенс современности и ни один астролог, потому просто-напросто буду плыть по течению. У какого порога споткнется моя жизнь - не знаю, но пока рад, что живу, что я с друзьями, с родней и со своим красивым временем.

"9 февраля 2014-го. Заканчивая злополучную четырнадцатую главу, не стал убирать ничего лишнего и из тринадцатой, можно было бы закончить повесть и ею, но я уже говорил, что натолкнуло меня на эту, последнюю, четную. Как все получилось - пусть судят другие, а мне остается только ждать с моря погоды. Ко всему написанному в четырнадцатой главе присовокупил и несколько четверостиший, появившихся после концерта по телеку, из какого выбрал несколько интересных строк, переделал их и дополнил своими строчками, какими и хотел бы закончить все это повествование. Дал стихи почитать и Гульчатай:

— Посмотри, Агафья Курдюмовна, стоит ли тискать вот эти стихотворные строчки, не испортят ли они весь прежний антураж повести?

— Ну, господин Торричелли, к твоим стихам я всегда относилась благосклонно, потому как в них всегда есть какая-то живинка.

— Ты давай, Маргарет, сначала прочти, а потом будешь судить.

*Над городом бесится снежная вьюга,
Улицы мерзнут, а с ними зима,
В морозы ко мне позвонила подруга,
Она и с метелью примчится сама.
Ну, коль ты такая лиха по природе,
То двери открыты, входи и гостюй,
Смелость сегодня у многих на взводе,
Так что спеши и вернешь поцелуй.
С экрана сегодня живую поют -
С нашими песнями пора и на пенсию,
Песни в душе не находят уют,
Им стало повсюду и скучно и тесно.
Как поется в песне, любовь - галоволомка,
Вот и я ломаю голову над тем,
Прозвучит ли повесть моя тихо, громко,
Только мне понравится или, может, всем ?*

На том и хотелось бы поставить точку, только решил сделать это более оригинально. как делали те же Пушкин и Лермонтов. Пушкин своего "Евгения Онегина" закончил словами: "И он умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим". Лермонтов — так: "Героя нашего времени" закончил обычным прозаическим рассуждением: "Он вообще не любил метафизических прений".

Стал разбираться с этой метафизикой, потому как смотрел на нее как баран на новые ворота. Оставаться пень пнем в этом бытовом и философском плане посчитал позором, отчего и углубился в известные рассуждения об этой метафизике, приписываемой античному Аристотелю. Нынешние толкователи говорят, что метафизика - это антинаучный метод мышления, противоположный диалектике. Служащий для обоснования консервативной и реакционной идеологии, когда речь, скажем, идет о предметах, недоступных чувственному опыту, отсылавшего нас к чему-то божественному, духовному. неосозаемому, тогда как жизнь все это опровергает и соприкасается нас с живыми предметами, с живыми людьми и явлениями. Рассуждать о том можно бесконечно, но, думается, делать дальше этого не стоит.

Я же в заключительной части своего повествования в этот Год Лошади хочу вновь обратиться к стремительному коню: не тормози, сникерсни! Отбрось все болезни и невзгоды и мчи меня к последующим годам с остановкой в следующем Году Лошади. А там следи за колебаниями космоса, какие подскажут тебе, мчать ли меня дальше по всему Году Лошади или тормознуться у какого-то живого месяца. Завтра наступит десятое февраля. в каком великому актеру России Владимиру Зельдину исполнится две девятки. О. великий конь жизни! Донеси меня хотя бы только до следующего Года Лошади! За эти годы я создам новые произведения, какие, может, даже будут проситься на книжные полки магазинов и библиотек. Нынче я чувствую в себе пушкинский и лермонтовский дух жизни и творчества. Я не отдал их в молодости, так сделаю это запоздало, в старости, отчего, может, и стану известен я народу, о чем мечтал в свое время и Пушкин. Пушкин своего добился, а мне достаточно известности в моем селе, в моем краю, в моей такой географически большой области. На том, друзья, давайте пожелаем друг другу счастья, здоровья, всяческих успехов, умственных и материальных благ и встреч. Когда мы сможем посмотреть друг другу в глаза, пожать друг другу руки и, может, вместе порадоваться нашей жизни, что мы в ней хозяева, а не приживалки. Порадоваться и нашему веку, в каком жили мы, наши дети и будет жить новое поколение, какое перейдет в новый век, но будет помнить и наш, и тех, кто в нем жил, творил себя, свою историю и историю своего Отечества".

"10 февраля 2014-го. После всех олимпийских новостей показали и Владимира Зельдина и даже поздравили его с девяностодевятилетием. Позавидовал знатному актеру, какого я впервые увидел лет шестьдесят назад в фильме "Свинарка и пастух". Возрасту Владимира Зельдина можно позавидовать. Можно сослаться на гены, только известно, что актер никогда в жизни не пил и не курил, всегда был верен кино и театру. Нам бы брать с этого человека пример, как быть верным своей профессии и своему космическому местожительству.

А меня, в целом, держит возле себя моя повесть. Чего я в ней сказал? О старшем братане поведеал, столкнул и с меньшим, Анатолием, с каким после всех поминальных дней еще не встречались, а только перезваниваемся. Наши разговоры в книгу не тискал, отчего она наверняка только выиграла. Февраль доползает уже до своей второй половины, перешагнет и ее, а там подкатит и март, седьмого числа какого мне стукнет семь и семь. Кто-то, может, порадуетсЯ этому, а меня эти годы просто пугают. Все-таки в наши дни, когда мы дышим дурной экологией и даже незидимой радиацией, высокие жизненные годы пугают. То ли они предупреждают, что не будут держаться так долго, а потому надо спешить делать то, что не было сделано до этого...

Мною, вообще, мало что сделано в писательском плане, какой последней время занимает меня больше всего. Противиться этому не получается, потому перу и бумаге отдаю дни и ночи. Моя Батима-Гульчатая уже не делает мне замечаний, зная, что меня уже не переделать. Своей Гульче в повести я тоже отвел место, но она о том ни сном, ни духом. Я не Руссо и читать свою исповедь никому не собираюсь, а уж если она выйдет в свет живой, то, пожалуйста, читайте, наслаждайтесь и завидуйте, что я гражданин республики Казахстан. Может, и себе позавидуете. А если еще прочтет и Гульчатая, то она, может, по-хорошему удивится, что с нею пятьдесят четыре года жил не только муж-железнодорожник, но и своеобразный писатель, какого не знают в этом звании даже соседи по подъездной площадке, по подъезду, не говоря за весь шестнадцатиквартирный дом, тем более за все село. Гульчатая в том винит лично меня и наше время, какое отличается от времени Павки Корчагина, "Трактористов", молодогвардейцев, Василия Теркина, Николая Рыбникова да Василия Шукшина с Владимиром Высоцким. Я нравоучения своей Гульчатой-апы мотаю на ус, а сделать практически ничего не могу. Живую повесть свою хотел бы потискать, поосязать и даже поцеловать, будь она даже в мягкой обложке, что, говорят, дешевле обходится. Видел такие книжки в мягкой обложке в магазине и в библиотеках, неплохо они смотрятся и также неплохо читаются".

ГЛАВА 15

Все эти записи неизвестного мне Романа Рымаря я прочел принудительно, какие мне лично привез их автор, каким-то образом прознавший о существовании на соседней станции Киик грамотного пенсионера, такого же железнодорожника, увлекающегося писаниной и даже стихами. Мне он прямо сказал, Киик он проезжал не раз, видел из вагонного окна вокзал, привокзальные строения и саму станцию, похожую на все наши железнодорожные строения, но в самом поселке не бывал и людей его не знает, кроме тех, кто как-то пописывает. Лично он меня читал в различных газетах и даже в журналах "Простор" и "Нива", в каких печатался в свое время и он. Конечно, хотелось встретиться и прежде, но задерживали всякие дела, да и годы его давно перевалили за семерку. Ну, читаю я Анатолия Иночкина, Роберта Келлера, Татьяну Лебедеву, Асель Жетписбаеву - хорошие, познавательные, интересные у них вещи, дышащие крепким журналистским мастерством, а вот лично он их никогда не видел, не встречал и вряд ли когда это произойдет. А вот вас, уважаемый собрат по перу, я решил-таки навестить, заодно и побывать на вашей станции Киик. Записи свои мой новый знакомый Роман Рымарь называл повестью и просил меня ее проревизировать. Недаром, конечно, — заплатит он, сколько я запрошу, а можно просто по договоренности. Пишущий народ у нас никогда в деньгах не купался, потому как он, кроме прочего, разоряется на бумагу, ручки, тетради, копирку, какой-то корректор, каким убирают ненужные записи. Я подержал моего собеседника и принял его записи, сказав, что никакой оплаты не потребуется. Я просто прочту и сделаю, если потребуется, какую-то правку. Большому писателю Александру Фадееву тоже делали правку в его романе "По следам из Удэгэ", сделано их аж около трехсот, какими писатель остался доволен и даже благодарил своих правщиков о главе с каким-то Лукиным. Правка — дело не лишнее, а даже необходимое. Сделаю это и я в твоей повести, а там посмотришь, стыкуется ли правка с твоими мыслями и намерениями. Бывает, что правка просто портит дело. По удалению моего нового знакомого с соседней станции с какой-то чисто украинской фамилией - Роман Рымарь - углубился

в его записи, названные повестью. Что-то в его записях совпадало и с моей жизнью. Мы оба каждый по-своему ударялись в писанину и кропали стихи. Решил-таки собрату помочь с его повестью в части обычной литературной точности, литературного и жизненного детерминизма. Писать нынче мастаки многие, а как и о чем - не всегда принимается читателем и жизнью.

"7 марта 2014-го. День начался с того, что моя Дарига-Гульчатай поздравила меня с днем рождения, преподнесшем мне вторую семерку. В обеденном застолье также посидели тихо, без пафоса и речей, какие обычно произносятся на таких юбилеях. Трындычиха моя приготовила классный бешбармак и такой же классный чай. После вкусного обеда, по закону Архимеда, прежде я затягивался вкусной сигаретой, теперь же я этого не делал, поскольку завязал, как и с выпивом. Сев за свой дневник, делаясь с ним своими впечатлениями о житье-бытье в прошлом и в нынешнем времени. Что меня больше всего тревожит сегодня? Мои большие-таки годы. Семь и семь - нынче немало, и как сделать, чтобы их продлить еще? Читал в каких-то издательствах, что люди со столетним возрастом вовсе не редкость. В СССРовскую бытность как-то сообщалось о каком-то Ширали Муслимове, какой якобы родился в 1805-ом году и умер в 1973-ем. Не знаю-не знаю, но киножурнал "Новости дня", какой всегда крутился перед фильмами в 50-60-ые годы, в 1955-ом показывал этого самого старца Муслимова, какому якобы исполнилось 150 лет. Выглядел старец бодрым, ел лепешку с медом и что-то говорил журналистам у себя в селе Барзавув Азербайджанской республики. Потом, наверное, о нем забыли, и только в 1973-ем печать сообщила о кончине этого знаменитого в СССР старца. Правда или нет, что существовал такой долгожитель, только киевские исследователи говорят, что возраст старца был журналистами завышен как бы не на все полста лет. Сто восемнадцать старик мог протянуть, подобное в мире вроде уже встречалось, но такого возраста для живого организма природа еще не придумала, хотя одно информационное агентство опубликовало сообщение из Пекина, согласно которому, некто Ли Чунгъюн, родившийся якобы в 1680 году, только что умер в возрасте 256 лет. Ну, написать можно что угодно, лишь бы платили. Опровержения после этого не последовало, а книга рекордов Гиннеса, однако, этот момент зафиксировала. Конечно, такие страсти не для меня и очень жаксы. Черт знает, какие только вещи в мире не творятся. У норвежского рыбака Яна Эгила Рефсдаля, какой родился и 1936 году, 7 декабря 1987-го остановилось сердце, какое не билось целых четыре час. Вра-

чи, однако, с помощью аппарата "Искусственное сердце-легкие" вернули рыбаку жизнь, какой жил еще долгое время. Повторного случая история не сообщает, потому как таковых наверняка не было, но вот почему-то говорят о том, что якобы Гоголя положили в гроб с жизненной патологией. Правда это или красивые вымыслы, об этом мы теперь не узнаем никогда. Жена насчет моего долголетия советует помолиться на солнце. оно якобы прибавит мне долголетия. А чего - Солнцу, когда оно от Земли находится на расстоянии 150-152 миллиона километров со своим поперечным диаметром, как замечают астрологи, в один миллион 392 тысячи километров. Так, мол, бабки ее советуют, подумаешь. помолишься на солнце, а там посмотрим, чего оно даст.

Подумал, солнечные страсти уж точно не по мне, а вот жизненное и человеческое долголетие мне хотелось бы знать и испытать на себе. Больше проживешь - больше сделаешь, и ежу понятно, только мне хотелось бы больше писать. Раньше к этому не тянуло, а вот на старости произошел настоящий сдвиг по фазе, какой и подвигает, меня на писанину. Что получится из этой писанины в будущем - не представляю, только на данный момент меня волнует моя повесть, жанр, к какому я прежде никогда не обращался. Хочу увидеть ее живой не в отдаленном будущем. а в ближайшее время. Закончить же свои записи я хочу лишь одним пожеланием - дожить до следующего года Лошади, увидеть живой свою повесть и к новому коню прискакать с хорошим большим романом. Романом о моем времени, моем поколении и моем новом Отечестве, какое не признает никакой релаксации и деформации, а мчит вперед на высоком скаку с большим напряжением и с большой устремленностью".

Заканчивая записи Романа Рымаря, заметил, что у нас по жизни много схожего, посчитав, что ничего в том нет удивительного - у многих железнодорожников судьбы были схожими. Смолоду многие из них шли в железнодорожные училища, потому как родились и жили в железнодорожных поселениях, знали и любили железную дорогу, где в большинстве трудились и их родители. Ну, а дальше каждый делал свою жизнь по-своему, как делал ее Рымарь, его друзья, да и я тоже. Мои желания совпадают с рымарскими, в чем, думаю, не стоит себя винить.

Рымарь мечтает написать книгу, о чем мечтаю и я. Мечтаю про себя, втихаря, что, видимо, и должен делать пишущий человек, хотя писать книгу - тяжелый труд, о чем писали и великие мира сего, например, Александр Фадеев, сказавший где-то: "Писание книг есть тяжелая специальность, специальность сложная, требующая высокой квалифика-

ции, высокой культуры". И еще что-то есть у Фадеева о труде писателя: "Надо идти в ногу с жизнью, с современностью, быть современником в подлинном смысле этого слова, то есть находиться на уровне передовых идей своего времени и жить одной жизнью с народом", Думается, комментировать великого Фадеева дальше нет смысла, а вот положить его мысли в свою голову и в свое сердце необходимо - пишущему человеку непременно пригодится.

Насчет желаний моего нового знакомого из соседнего Жанадыря ничего нет сверхъестественного. Дотянуть до следующего Года Лошади - да это мечта не только моего собрата по перу, но и моя лично. Наверняка о том же думает еще кто-то не только у нас в стране, но и в мире. Равнодушных к своему долголетию лично я не встречал. Может, их нет в моем поселке, но в целом свете, может, кто-то и затерялся. Идут же на суицид некоторые, которых я понять не могу, медицина не может, а Всевышний так и вовсе не прощает. Бог прибрал другое дело, а покончил с собой - не вписывается ни в какие жизненные рамки

Немало мой новый знакомый в своих записях говорит и об известности. Ну, об известности и у меня душа свербит. В нынешний век компьютеров и ноутбуков и во всемирный Интернет получить известность не проблема, лишь бы было за что. Земляк мой из Жанадыря желает прославиться своей повестью и, наверное, это у него получится, поскольку он к этому стремится чуть ли не на каждой странице своих записей. О подобной известности наверняка мечтает каждый пишущий, в том числе и я, только мне, по сути, прославиться нечем. То, что в бумагах, требует тщательной ревизии и литературного мышления, а для этого надо как-то себя мобилизовать. Сделать это в мои годы не просто, потому как я давно не мужичок с ноготок и близ рымарских семерок крутился и до Года Лошади. Что принесет этот конь ретивый нам с Рымарем в четырнадцатом, проживем-увидим, а дальше... Дальше загадывать не стоит, о чем говорит и моя женушка - у себя в Кике о богатстве не мечтают, не говорят и не вспоминают, а вот как бы не отбросить копыта, тем более внезапно - толкуют. Вот хочется им жить и все тут, потому как в старости все есть - хорошая пенсия, какая кормит, поит и ответ держать велит, хорошие дети, внуки и правнуки, добрые друзья и добрые поселяне, какие поздравляют то с днем рождения, то с какой-то статьей в газете. Народ у нас, оказывается, равнодушен к печати, а потому его надо просто приветствовать.

Ну, отбросить копыта внезапно, как это случилось у рымарева брата, я крайне боюсь. Я хочу сделать это в полной памяти, о чем даже как-то

писал в какую-то газету, и она тиснула мою писанину, в какой звучали если не поэтические, то какие-то возвышенные строки:

*Пусть будет усердным товарищ, медбрат,
Какой и глаза мне закроет,
А за окошком пусть дети шумят и в поле волчица завоет.
То будет по мне предпрощальная боль,
Я, может, и тем успокоюсь,
Я в жизни исполнил нелегкую роль,
Пред вами я в чем и откроюсь.
А роль та была - жизнь красиво прожить,
Белый свет повидать, родить сына,
Чего не случится - не слишком тужить
И судьбу не считать в том повинной.
Хотелось принять бы ваш добрый совет
Не гнать жизнь по лужам и кочкам,
А миру оставить Слепцовский свой след
Своими Слепцовскими строчками.
Пусть до талантливых им не угнаться,
Но в них мой дух и отрада,
За жизнь свою не хочу опасаться
Она мне дала все что надо.
Она мне дала мою Гульчатай,
С какой полста лет проживаю,
Какая не кличет меня на Алтай,
Где у сына мы часто бываем.
Не кличет туда на житье и бытие
На житье в просветленных светлицах,
Все ж Казахстан - это счастье мое,
С моим кленом, с березкой-девицей.
Ну, и давайте закончим наш той
С желанием счастья друг другу,
А нашей поэзии, как небо, святой,
Быть каждому доброй подругой.
Поэзию я в своем сердце ношу,
Какая трепещет и к людям стремится,
А я Всевышнего все же прошу:
Дай ей и мне как-нибудь засветиться.*

ГЛАВА 16

И все-таки решил ударить по шестнадцатой главе, какая в сумме давала символическую семерку, какая, по поверью моей Гульчатай и ее случайной цыганки, счастливая цифра. Ну, счастья лично я никакого не жду - не те годы и не то время, а вот увидеть живой эту повесть хотелось бы, хотелось бы по-человечески страстно. В мои семь и семь отчего-то больше ждётся мифологический феникс, какой прилетит с далекого, неземного неба, прилетит и возобновит во мне новые писательские силы и писательский дух, к тому же и продлит мое долголетие.

Ну, о долголетию после моих двух семерок стал я думать про себя все чаще, с Гульчатай же мыслями не делюсь и свое желание проскочить до следующего Года Лошади оставляю при себе. О простых весенних желаниях себе и людям говорили и желали, потому как по весне вообще хочется делать людям добро. Весна как-никак обновляет землю, душу и мысли человека, делая их чистыми и приветливыми. Поэт прильнет к окну и будет обозревать первые весенние проталины, а такой как Аполлон Майков напишет:

*Весна! Выставляется первая рама
— И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.
Мне в душу повеяло жизнью и волей:
Вон - даль голубая видна,
И хочется в поле, в широкое поле.*

Весна всколыхнула мысли поэта, какого радовало по весне все, что окружало поэта и весь этот весенний мир.

*Боже мой! Вчера - ненастье,
А сегодня - что за день!
Солнце, птицы! Блеск и счастье!
Луг росист, цветет сирень...
А еще ты в сладкой лени*

*Спишь, малютка! О, постой!
Я пойду, нарву сирени,
Да холодной росой
Вдруг на сонную-то брызну...
То-то сладко будет мне
Победить в ней укоризну
Свежей вестью о весне!*

Насчет весны моя Гульчатай вдруг сказала:

- Вот ты, Темирбай Жарылгай-оглы, процитировал весенние стихи Майкова. Есть стихи о весне у Пушкина, Лермонтова, Некрасова, а у тебя их отродясь не было. Весна тебя, Тугамбай, не волнует, не вдохновляет, не согревает?

- Ну, ты даешь, Калима Калкеновна. Весна всех согревает и всех вдохновляет, но я, как Пушкин, отчего-то больше склоняюсь к осени, умиляясь золотом осенней листвы, отчего как-то и посвятил один свой стих осени. Хочешь послушать?

*Ах, какая осень по стране шагает!
Солнце, как и прежде, белый свет теплит,
Желтый лист с деревьев тихо опадает
И над землей в безветрии нехотя кружит.
В прошлую осенность осень лишь дождлива
- Тогда не прогуляться по золотой листве,
Солнце хоть и грело, а душу холодило,
Холодя и думы в горячей голове.
Нынче ж облачаешься в легкую ветровку
С тонким подкладным утепленным ворсом
И идешь с соседом встретить коровенку
С пастбища далекого и с близкого покоса.
А жизнь-таки идет, обласканная небом,
У меня в поселке - довольство и тепло,
У соседа-друга пахнет теплым хлебом,
Домашний хлеб - искусство, мы пробуем его.
В нашей деревеньке народ гостеприимный,
Щедрый как душевность, подарки и простор,
Он и с незнакомцем дружеский, взаимный,
Ему с любым пришельцем приятен разговор.
Он при всякой встрече расправляет крылья
И будущее видит светлым, как в раю,
Он верит, что и сказка когда-то станет былью,
О чем я с ним попутно о том же и пою.*

- Да, Олжас Тугамбай-бей, вроде талантливо. А почему бы тебе, Темиргали, не издать собственный сборник стихов? Писать их у тебя вроде тямую хватает, а вот издать... У тебя их я вижу целую тележку не только в твоём столе, а и в диване, и под диваном - точно целый вагон наберется.

- Ну, ты даешь, Дамеш Карсакпай-кызы, вагон стихов, и вправду, наберется, но они все из детства, юношества и моего мужицкого становления, когда у меня не было десяти классов и КазГУ. Что я мог, безграмотный, писать? Плел, конечно, всякую ерундику, какую для отдельного сборника и на выстрел не допустят.

- Да не такая уж ты забитая тупица, Данияр Сапар Темиргали-оглы. Читала я некоторые - есть в них жизнь, есть движение души, как у всякого поэта есть рифма. Я мало чего смыслю в стихотворной технологии, но, думаю, некоторые из них, а то и многие, имеют право на живое существование. Как это будет выглядеть - я не знаю, только знаю, что мой муж Темиргали Данияр Куаныш Сапар-бей, в чем-то талантлив. Ну, на баяне шарить, народ увеселяешь? Увеселяешь. Ну, а писанина - твоё хобби, какому служишь всю сознательную жизнь, а вот первый твой стихотворный сборник вышел, когда тебе стукнуло аж все семьдесят шесть, то есть в тринадцатом. Где же ты, Азамат Мырза-оглы, был все годы до этого?

На деле, и правда, где же тебя, Сулейман-оглы, носило до тринадцатого, и чем ты занимался, пока не вышел твой первый стихотворный сборник? Выходит, только в семьдесят шесть тебя, образина чертова, понесло на пушкинско-лермонтовско-толстовскую тропу? Не знаю, как тебя после этого, Чингисхан чертов, назвать? Питекантропом и неандертальцем я уже был, пещерным- тоже, осталось превратиться в безмозглую мартышку, какая руками (передними ногами) может делать многое, не может только мыслить и осознавать свои дела. Наверное, я где-то напоминаю подобную мартышку, только писанину свою я делаю осознанно, какая и родила мой первый стихотворный сборник, какому и сегодня поклоняюсь как святой иконе. Что будет с другими моими материалами — романом и набором очерков, также претендующими на отдельный сборник? Издательство материалы приняло, а пустит ли оно его в производство — остается гадать да гадать. Посоветоваться не с кем. Потому как в моей тьмутаракани отродясь не было далее маленького литературного кружка, где можно было бы почерпнуть полезную литературную информацию, где бы знатоки посоветовали, как обращаться с прежним русским словом и нынешним, какие время как-то да меняет. По словам сестры моей жены Антонины Гринюк, проживающей в Новоалтайске, такой кружок у них в городе есть, она — давняя его участница. В самом кружке — ну просто асы

писательского пера, какие советуют начинающему пишущему братству как писать и как обращаться с нашим словом. Кружок этот и помог Антонине отомобилизоваться и выпустить свой первый стихотворный сборник с названием "Признание в любви". Хороший, красивый сборник, но в мягкой обложке, какая красиво смотрится, но чем-то обедняет книжицу. Твердая обложка как-то даже возвеличивает книгу по виду, по весу, по ощущению. В своих весенних раздумьях о жизни и о себе, какому седьмого марта стукнуло ровно семь и семь, сказал своей Гульчатай: "Чего бы ты, мать Тереза, пожелала нашей Караганде в честь ее большого восьмидесятилетия, всем карагандинцам и жителям области?"

"Я пожелала бы, Гу Чан Чинь, всем здравия, чтоб весна никого не затопила, чтоб никто не болел и чтоб у больных толпились лишь очереди из одних беременных женщин".

Ну, за такое классическое пожелание, Рабига Тугамбаевна, уж точно проголосую и я. А вот своему пишущему племени я бы пожелал лишь строго пера и чтоб оно больше писало о сегодняшнем дне, а не днях минувших. Бери пример с того же Грибоедова, какой показал свету Москву, а в ее лице - большую Россию, людей того времени, живущих текущим моментом без мечты о будущем. Наверно, не родились у нас еще авторы, писатели, поэты сродни Грибоедову, какие бы сказали: служить бы рад — прислуживаться тошно. Служить мы за все годы СССР привыкли и призваны были лишь своему Отечеству... Где оно это Отечество теперь, когда кругом частный дух и всюду пахнет только "моим"? Киоск - мой, магазин — мой, детский садик — мой, интернат — мой, оздоровительный центр — мой, моя аптека, моя парикмахерская, моя швейка, моя сапожня, мое ООО, ТОО, мое "Ырыс-2004" — всюду все мое и ничего государственного. Даже железная дорога ударилась в частное облучение, какая раздробилась на частные куски, подчиняющиеся высокому частному лицу, а оно - уже какому-то высокому государственному. Нет, мы теперь не те, что были двадцать лет назад до СНГ, но мы о том молчим, смирились, потому как над нами не каплет, а раз не каплет, мы смело можем кричать: ура! И в воздух бросать чепчики. СССР был единое великое государство с единым большим народом, какой сделал свою страну передовой и могучей, и единой великой силой разбил фашизм, и спас народ от его влияния. Чем же нас порадует СНГ? Страна без власти и без Президента, без границ и Конституции, что как-то даже оправдывает расшифровку дилетантов: "С"- сбывлась, "Н"- надежда, "Г"- Гитлера. Ситуация с СНГ в целом не позволяет обижаться на этих дилетантов и катить на них баллоны, поскольку кое-что ими подмечено правильно. Коль все это так, во всем СНГ

никто не возникает и не возмущается существующим положением. У шестнадцати республик СНГ — свои границы, свои президенты, своя власть и Конституция, свои законы и своя армия, свои оборонительные рубежи и свой национальный престиж, какие кое-где заставляют кое-кого воскликнуть словами Чацкого: "Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне, карету!"

Ну, насчет кареты нынче-то лишь память, а вот на самолет — пожалуйста, и тебя примут даже там, где тебя не ждут и ничего о тебе не знают, но, коль ты приехал, живи, обживайся, проявляйся. Запад у нас гостеприимный, а Америка так приютила даже выдворенных из СССР Солженицына, Галину Вишневскую и Мстислава Растроповича, прочий народ, как те же Людмила Белоусова и Олег Протопопов, с прочим известным и неизвестным народом, перечислять какой не хватит никаких страниц. Обращаясь вновь к своей жене, сказал: "Вот об этом, Кадиша Тугамбаевна, я и хочу написать большую стихотворную поэму сродни Грибоедовскому "Горю отума". Подражание не есть плагиат, потому как у меня мысли — мои, стихи — мои, люди — мои, и где мне так же хотелось сказать словами все того же Чацкого: "Сказать мы можем, о себе вздохнувши, как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший".

Гульчатай моя слушала меня, серьезничала и, наконец, сказала: "Я вижу, Тугамбай, кружат тебя разные мысли. Но как их всех схватить и объединить? Хватит ли у тебя, зейнеткер, Еган Вайс, тяму создать нечто подобное Грибоедову, тогда как я не помню ни одного театрального произведения в стихах, ставившегося на сцене, разве кроме незабвенного Шекспира. Но ты же знаешь мою тупость по литературной части, так что я вряд ли кого еще могу вспомнить со стихами, пробившегося на театральные подмостки. Раз ты хочешь сделать нечто похожее на "Горе от ума", то, видно, захочешь, чтобы театралы и твою пьесу затанули на сцену?"

Мне ничего другого не оставалось, как сказать: правильно судишь, сестра Кэрри, но как у меня получится — я не знаю. Сказал еще, что у меня есть старые наброски с прямой стихотворной речью, как "Диалог с другом", "Рассказ бывшего почтальона", "Внук и дед с желанием побед". Можно ввести еще нескольких действующих лиц, дать им мысли, и пьеса может выиграть. Почему бы, Кадиша Зейнеб кызы, не попытать себя и мне в жанре Грибоедова? Ну, мало ли что он там писал почти двести лет назад? Он писал о своем, а я в свое время напишу о своем, так что я мало чего умыкну от Грибоедова. Не пойдет пьеса на сцене — так пусть она хотя бы выйдет отдельной книжкой, что егодня, говорят, делается различными домами издательств. Книжка явится подарком мне самому на моем,

чего скрывать, смертном одре, и подарком обществу, какое сможет открыто заговорить обо мне, когда я уж точно отброшу копыта. Что смогут сказать обо мне? Что я - от своих деревенских завалинок и дымящихся деревенских труб, какие наталкивают на гундаревское: деревня моя, деревнянная дальняя, гляжу на тебя я, прикрывшись рукой... Что за этой деревней? Степное приволье с хлебными нивами да голубая речка, какую пацанва перегибает с берега на берег, взявшись за руки, как по школьному двору. Где здесь ширь и идиллия? В каком краю я рос, таким вечно деревенским меня и сделал этот край, каким деревенским я был, есть и останусь до последних моих минут. Фанатов у меня никогда не было, и вряд ли они появятся при моей жизни и когда я ее покину. Фанатов надо заслужить, как заслужили их великие мира - Владимир Гундарев, Любовь Шашкова, Ольга Шиленко. Как все поэты от Пушкина до наших дней. Любовь к ним не изжить, как не изжить и поклонения их творчеству и их таланту.

Насчет того, что мне седьмого марта исполнилось семь и семь, сказал своей Гульчатай, что две семерки - это же всего три года до большой восьмерки, а восьмерка в наши дни - большая редкость. Много ли из твоего круга бабулек с восьмерками? Ни одной! А вот пишущий народ вообще не заживается. Добролюбов ударил всего на двадцать пять, Белинский — до сорока не дотянул, Чокан Валиханов лишь к тридцатнику прикоснулся. Абай так и до шестидесяти не дотянул. Не знаю, Батима, что будет со мной, только я, кажется, уже слишком перетянул. Мои друзья по КазГУ, работавшие в "Индустриальной Караганде" - Дмитрий Занчук, мой одноклассник, так умер в 2011-ом, а Владимир Миносян — в том же одиннадцатом, но тремя месяцами ранее. Сегодня им исполнилось бы, как мне, две семерки, но жизнь распорядилась по-своему.

Жена моя так просто возмутилась! "Ну ты, Жаңсылық Темирбай оглы, слишком накручиваешь на себя упадочнические силы. Разве плохо, когда тебе сегодня семь и семь? На здоровье не жалуешься, не пьешь-не куришь уже целых семьсот дней, а это прогресс. Так что, Сагынтай Тутеш бей, чтоб больше я не слышала от тебя о каких-то смертельных видениях".

Послушал свою Гульчатай и не стал при ней размышлять о моих годах и о той, что бродит где-то со своею косою. Мы бессильны перед временем и перед собою, перед жизнью и судьбою. Как они повернут мою жизнь - не представляю, и сколько мне предписано да предназначено протянуть - не ведаю, а потому прекращаю о том думать, писать и говорить. Жена к тому же сказала, что моей книге не пройти, если в ней омерзительное упадочничество и думы о смерти. Коль они есть, надо от них избавляться.

А об известности твоей в селе и в области, Тугамбай, - человечеству ты не нужен, потому как неинтересен. Грибоедов, Лермонтов, автор Павки Корчагина, Василия Теркина, молодогвардейцев - колоссы! А ты всего лишь песчинка в большом писательском море. Так что. говорил жене, за-вязываю о грустном. Вон какие великие авторы шагают по "Простор" да "Ниве" хотя бы в первых номерах этого года - Светлана Замлелова, Амангельды Кураков, Лаура Мусабекова, Галина Власова, Нурлан Оразалин, Гульмира Асаутаева, Орынбай Жанайдаров, Евгений Лумпов. Перечис-лять их можно бесконечно. Побывал в свое время в этих журналах и я -в "Просторе", в восьмом и девятом номерах 2007-го. во втором номере уже текущего Года Лошади, в "Ниве" - в четвертом номере 2008-го, во втором - 2009-го и в пятом 2013-го, за что я им низко кланяюсь.

Насчет наших с женой имен - это так у нас давно. Они всегда разные, и к ним мы тут же привыкаем. Во всем том жена винит бабулек из своего окружения, какие рекомендуют всегда иметь несколько имен, какие спа-сут от сглаза, приворота, отзависти, проклятий, от пожеланий всех несча-стий на твою голову и даже смерти, что приходилось лично слышать в на-шем селе собственными ушами. Чтоб ты издохла, сучка стоеросовая!- кричала одна экспансивная тетка на другую, вцепиться за волосы какой не давали крутившиеся тут же их товарки. Если такие невзрачности и по-сыпятся в твой адрес, то они падут на те имена, каким вы зоветесь дома и в быту. Советам бабок мы придерживаемся с моей Гульчатой уже как бы не второй десяток лет, и слава Аллаху, какой столько лет милует нас и спаса-ет от всех жизненных негативов.

Насчет моих же двух семерок жена сказала: "Не круглая цифра, а кра-сиво смотрится, паразитка. Семерки и вовсе выступают как два боевых генерала. Все это жаксы, Жансуат, но кто есть на самом деле?"

Кто я есть - о себе я знаю более других, чего я стоил и стою теперь, од-нако мне в последнее время так особенно хочется, чтоб обо мне хоть при-близительно сказали, как сказала о своем муже Александре Грибоедове его жена Нина Чавчавадзе: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего же пережила тебя любовь моя?" Эти слова высечены на мо-гильном памятнике Грибоедова, какие дошли и до наших дней. Пусть обо мне подобными словами скажут мои друзья и моя бесценная жена, с ка-кой мы вместе уже целых пятьдесят четыре года.

Не представляю, как моя Гульчатой - Маргарет Тэтчер - Рабига да Дарига, на деле же чисто русская Раиса Ильинична - будет без меня, без моей писанины ночкой лунной и вечного кланья моей пишущей ма-шинки "Москва"? Они как-то облагораживали нас и истинно продляли

нашу жизнь. До моих семь и семь Дариге тянуться да тянуться. А вот что покажут мои две семерки - не представляю, но надеюсь на нынешний Год Лошади и на боевого коня, какой домчит на себе и меня до следующего Года Лошади. О чем я уже молил время, Аллаха, свою судьбу, мою жизнь и мое окружение, того же мчащегося коня, на каком я крепко держусь за его гриву. Может, и вправду, я домчусь таким образом до следующего Года Лошади?

На этом повествовании и собирался поставить точку. Только моя разбушевавшаяся Дарига Карпековна сказала:

— Невезучий ты, КИРКОР ФИЛИППОВ, упрекаешь в своих неладах с твоими книгами нынешнее время, узкий писательский круг и его безразличие к начинающим авторам, каким как раз и нужна помощь писательского коллектива. Скажем, того же Союза писателей республики, какой в первую очередь и обязан усекать пишущий народ в своей стране. Не знаю, какова его роль в жизни начинающих авторов, только, думаю, она не должна быть второстепенной. Не знаю, что это за Союз, где он обитает и чем занимается, только не слышал, чтоб он вывел кого-то на большую писательскую тропу. Начинающие авторы сами находят себе дорогу и сами взбираются на писательские кручи. Сильные покоряют их вершины, а середнячки вроде меня довольствуются "Простором" да "Нивой". За что им все равно остается только поклониться, поместивших и мои глубинные марашки, о каких друзья говорят: вери гуд, жаксы, хорошо. А на самом деле — не мне судить.

Вот на этом месте уж точно собирался поставить точку и просто написать "конец", так опять вмешалась Гульчатай Зейнеб-ханум:

— Слушай, БАСК НИКОЛАЕВ, какие страсти передает на "Евразии" передача "Сто двенадцать". Кругом столкновения машин, кругом смерти, машины сбивают пешеходов, молодых и старых, детей и подростков, каким, может, и надлежит в будущем править нашей страной и сделать ее самой богатой и передовой в мире. Надоели эти постоянные смертельные сообщения и извечный негатив по жизни. Ты сделай так, чтоб читатель твоей книги хоть раз улыбнулся и у него просто бы развеселилась душа, чего у нас нет, и мы забыли, как это делается. Ты же можешь сделать это, уважаемый Марк МАНТИШ?

— Ну ты, РАСПУТКА МАШИНА, задала мне проблему. Будья Михаил Жванецкий или Аркадий Инин, можно и попытать нечто шутиливо-комическое. Так я ведь всего-навсего в прошлом тепловозный слесарь и снабженец, отчего, дорогая Бабка Надеждина, сие мне не дано, чем и закончим наше повествование с пожеланием нашему читателю здоровья и

манны небесной, а нашим женщинам в честь их большого женского дня — счастья и большой любви земли и неба.

На этом повествовании, наконец, поставил точку и сказал о том своей Гульчатай: женка, на этом завязываю. Жена прочла концовку и в каком-то недоумении сказала:

— Если почитать все твое повествование, господин Попандопуло Рымарь-оглы, то, на мой взгляд, в нем много схоластики, хотя первые главы, связанные с твоей жизнью у больного брата, уход за ним в течение двух с половиной лет изложены правдиво и с человеческой болью. О художественных нюансах судить не берусь, а последующее изложение жития и бытия как раз и отдает схоластикой и надуманностью.

— Ну, Али-баба Мария ду Сокуру, я и сегодня сказал бы словами Бальзака, что мы нынче недостаточно умны, чтобы понять испорченность света. Разве это не испорченность света, когда машины на скоростях сбивают людей от мала до велика не только в городах, где развернуться негде не только машинам, но и людям, а и в простых поселениях. Ладно — дорожные происшествия — это не намеренные действия, а кража у прохожих сумок на бегу, на велосипеде, на мотоцикле?! А кража и продажа детей?" Ну, а что за время настало, когда грабят банки, банкоматы, магазинные выручки, грабят квартиры, несмотря на их этажность, в какие вору попадают через крышу, спускаясь в окно или на балкон. Все это телевизионные вести, каким мы верим, верили и будем верить, потому как телевидение — государственное предприятие, а государству мы испокон веков верили. О других негативах нашего жизненного бытия говорить не стоит, их не перечислить, но они сокращаются — и в недалеком будущем наступит время, когда все эти негативы исчезнут. Сейчас к этому все идет и, думаю, станет время, когда на улинах и в наших домах будет праздник души и еердца, праздник дружеского общения всех наших людей.

— Ну, что ж, Темиргали, хорошую ты сделал концовку, осталось только, чтоб читатели сказали о тебе хорошее, отчего и укажи в конце свое настоящее имя — Роман Рымарь. Меня указывать не стоит, потому как ты есть герой своей неоконченной повести. Я хотела бы прочесть ее продолжение, какое, мне кажется, просто напрашивается. Думаю, ты и сам вынашиваешь подобные мысли, какие, наверное, когда-то да свершатся.

— Спасибо, Батима Калкеновна, за такую веру. Теперь вся надежда на нынешний год, на его доброго коня, какого я молю донести меня до следующего Года Лошади. Донесет — я сделаю не одну подобную повесть, в какой уж точно поставлю последнюю точку.

ГЛАВА 17

Если по серьезности, то на шестнадцатой главе как раз и решил поставить точку со словом "конец", что я и увидел в "Герое нашего времени", только отчего-то показалось: в повествовании какая-то недоговоренность, недосказанность. По смыслу вроде все сделал, как положено, получил сообщение об insulte брата, приехал и два с половиной года адски маялся с ним, пока чертов insult не усыпил в две тыщи двенадцатом моего старшего навечно. О моих мучениях я говорил, и распространяться не стану, только хотел, чтобы мне только посочувствовали, каково мне было в мои-то семьдесят пять топить печь, ежедневно чистить ее, выносить золу и приносить уголь, дрова, трижды готовить еду из всего, что было в доме и в магазинах, менять памперсы и купать брата. Всех дел, наверное, не перечислить, но делать их мне приходилось все те годы и днем и ночью. А недосказанностью может остаться мое увлечение писаниной, какой я занимался исключительно ночами, когда брат спал и не донимал меня своими проблемами и притязаниями. Об этой повести, конечно, тогда я представления не имел, и только после брата мой явился причиной ее появления. Насчет слова "конец" в завершении "Героя нашего времени" — не знаю, кто его поставил, сам ли Лермонтов, или то сделали издатели времен еще при жизни автора, или уже нашего времени. Насчет же пресловутой недосказанности да недоговоренности что-то, и правда, крутилось в голове и даже толкало к перу и бумаге. На деле я уже спрашивал себя в начале повести: что ты, образина безмозглая, делал до 2013-го, чем жил, чем занимался по литературной части? Тебя творчество не донимало, стихи не посещали, проза не накатывала? Почему ты, тупица безрогая, только в семьдесят шесть, а значит, в 2013-ом вдруг разразился активным творчеством и издал сразу три книги — сборник стихов "Мои агадырские зори", четырехсотстраничный роман "Годы Орлиные" и книгу очерков "Пестрые письма, или Жизнь на ладони"?! Друзья, кому подарил эти издания, всю мою писанину расхваливали и даже сказали, что я унтер, какой в двенадцатитысячном Агадыре один такой талантливый. Может, со временем появятся свои есенины — агадырские, так сказать, только на сей день их пока не видно. Я так побывал в "Просторе" и в "Ниве", побывал в мое семидесятилетие. А рань-



Я и моя Гульчатай -
Маргарет Тэтчер-Батим
Раиса, с какой мы вместе
уже 55 лет.



Как молоды
мы были!



Пой, баян — неизменный мой друг...



Гармонь моя игристая, а публика — голосистая.



Мои друзья.

Гармоничная,
говорливая,
когда ты поешь,
я счастливая!



Улыбнемся публике дорогой республики!

ше ты, прореха на человечестве, не мог попасть в эти извечные республиканские журналы? Что тебя, чертова жертва аборта, держало до этого? Ведь не мог же ты, скотина, созреть только в семьдесят лет? Ты что, хотел уподобиться некоему Аксакову, поэту пушкинского, лермонтовского и гоголевского времени, какой, по словам исследователей его творчества, начал проявлять свое творчество только на своем шестом десятке творческого пути? А все шло от моей тупости, безграмотности, неразвитости, моей провинциальной забитости. Почему такое произошло? А потому как за полста лет ты, дубина неотесанная, не прочел ни Аксакова, ни Жуковского, ни Карамзина, ни Ибсена, ни Гете, ни Байрона. Ладно хоть умудрился налечь на Руссо и на его "Исповедь", и то лишь благодаря Лермонтову, какой сказал, что "Исповедь" Руссо уже имела тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Да, я уже спрашивал себя и теперь спрашиваю: где же ты, образина тупорылая, все-таки был до своих 76 лет? Ведь только в эти годы и в этот минувший год Змеи ты издал сразу три своих книги. Это, правда, подвиг, прогресс, это победа над собой и, может, над своим временем. В Год Лошади у тебя тоже что-то намечается, но что получится - пока не представляю, да и почему-то мало верю в свои способности. На деле, о себе я сужу, что из меня писатель как из гончаровского Обломова — шахтер.

Насчет же моей дальнейшей жизни — не знаю, какой у нее план и когда запланировано ею отбросить мне копыта, отчего и спешу воспользоваться живым временем, чтобы издать еще несколько книг для друзей и родных. Пусть моя писанина хотя бы для них останется памятью обо мне, кто так любил жизнь, людей, свою область и свой Агадырь, в каком прожил 55 лет, сделал свою жизнь, жизнь семьи и родни и какой на грани своего восьмидесятилетия вдруг захотел засветиться. Тремя моими книгами мне что-то удалось в этом плане, за что я кланяюсь Караганде, ее издательствам и издателям, увидевшим во мне не пародию на писателя, а что-то близкое к этому почетному званию. По правде, писателей у нас не так уж и много, а те, что хорошо известны и хорошо засветились, вообще считаются единицами. Я в их число, разумеется, не вхожу, потому как, наверное, такой мой философский мир, как у всякого творческого человека.

По поводу же семнадцатой главы, тут не иначе как сыграло мое укоренившееся во мне поверье одной далекой цыганки, касавшееся цифры семь, какая якобы во все времена приносит удачу. У меня в моем году рождения как раз и есть эта самая чистая семерка, как есть она в чистом виде и в дне моего рождения первого весеннего месяца.

Насчет дожить мне до будущего Года Лошади - это мечта, думаю. не только моя. До будущего Года Лошади, правда, не ближний свет, но кто его

знает, как повернется моя жизнь. Не пью, не курю уже целых два года — была такая дурная привычка, с какой завязал, думаю, навсегда. Выпивом, правда, я и прежде не увлекался, только по каким-то республиканским праздникам да на каких-то семейных увеселениях, а вот курил я все-таки здорово — пачку на два дня, за что друзья упрекали и говорили: интеллигент чертов (когда они высасывали свои пачки за день). На куреве и выпивоне я поставил крест, чего хотел бы пожелать многим нашим товарищам. На куреве можно поставить крест прямо сегодня, а к выпивону относиться середнячки — знать меру. Будешь знать меру — будет у тебя и вера.

Семнадцатую главу, чего я не хотел, все-таки прочла моя достопочтенная Гульчатай, Вроде осталась довольна, но я все-таки видел в ней какое-то неудовлетворение. Не стал откладывать, спросил:

— Вижу, что-то тебя волнует, Батима-ханум.

— Да, Мустафа-паша. К текстовке у меня претензий нет, а вот насчет трех твоих книг, вышедших в твои семьдесят шесть, есть. Люди не поймут тебя, друзья не поймут. Некоторые знают тебя не менее полста лет и только увидели тебя в печати. Так, и правда, где ты, Рустем-ага, был до этого? И я, прожив с тобою целых пятьдесят лет, только теперь увидела твои книги, зная, что занимаешься ты писаниной всю жизнь. А себя ты, Мехмет-ага, спрашивал, где же ты был все эти годы? Ведь ты же не целину пахал, а в училище учился два года, пятнадцать лет слесарил и двадцать пять лет снабжал свое производство. На “дембеле” так ты уже пятнадцать лет и только в эти годы начал серьезно заниматься творчеством, писаниной.

- Спрашивал, Хиреем-султан. Только толку? Ответ у меня самый верный: — тупой. Писать у нас мастера сейчас сплошь и рядом, у молодых получается писанина, у древних вроде меня все идет через пень-колоду. Друзья да родня книги приняли благосклонно и просто захвалили меня. Им я раздал всю первую половину тиража в пятьдесят экземпляров. Куда девать вторую половину? Может, ты, Валиде-ханум, подскажешь? Торговаться не умею, поручить кому-то — надо платить, а платить мне нечем, потому как эти книги изданы за мой счет, что нынче практикуется повсеместно, что я лично, как весь пишущий народ, приветствую и даже кланяюсь своим издательствам. Я жизнь прожил и вот только в семьдесят шесть-семьдесят семь стал мало-мальски известен, известен двум десяткам друзей вместе со всей нашей родней, какой у нас с тобой раз-два и обчелся. Друзей у нас — стариков — тоже на пальцах можно сосчитать, тем более в мои семьдесят семь, когда друзья так неожиданно потихоньку покидают этот мир. Наверно, недалек, Хиджи-ханум, и мой час, потому как семь и семь это все-таки не шесть и семь и не круглая семерка, а что-то совсем близкое к

восьмерке, что в наш атомный век — редкое явление. Если я тяну эту семерку, то не знаю благодаря чему. Первое, как я думаю, это благодаря тебе, Гульчатай Калкеновна. В жизни ты не давала увлекаться рюмкой, отрицательно относилась к куреву, какое я бросал, бывало, на целых семь-восемь лет и начал только, когда двадцать пять лет работал в снабжении. Работа в этой должности наталкивала и на рюмку, без какой не всегда получался сговор о поставке того или иного материала — такова была наша социалистическая система хозяйствования. Не знаю, стало ли лучше при СНГ, только излечить заскорузлую болезнь общества совсем не просто.

- Да, дорогой Саддам, наша бывшая социалистическая система имела многие отрицательные стороны. С нынешней позиции это прослеживается особенно. Благо, что ты в своих произведениях не касаешься политики, а если где-то что-то нарушается в ней, пусть читатель сам допетривает и додумывает.

- А меня, Маргарет, все-таки тянет что-то затронуть политическое. Ну, скажем, взять того же Никиту Хрущева. Кукурузные и гороховые проделки его известны, как и прочие проделки с краями в нашей республике. Известен и 1954 год, когда Хрущев в честь трехсотлетия присоединения Украины к России подарил Украине Крым, какой испокон веков принадлежал России. Через шестьдесят лет, то есть сегодня, Крым вновь возвращается в родные пенаты. Симферополь, Севастополь всегда были на страже российских границ, каким надлежит нести эту ответственность и теперь.

— Не думаю, Барак, что и великий орденоносец, усыпанный наградами от плеча до плеча и от шеи до пупа, был идеальным наследником ленинского принципа руководства партией и государством. КГБшные привычки сохранились в нем до конца его жизни.

О современном СНГ говорить не стали. Решили, что скучное это дело, как скучно и само СНГ. Единственное, на что я пожаловался своей Гульчатай, так это о моих нынешних двух семерках. Как их продлить — не представляю, а страсть как хочется. Только для написания еще двух книг, какие созрели в голове и даже где-то уже вылились на бумагу. Не для известности, а для выявления моих мыслей о жизни, о себе, о Гульчатай, о друзьях, какие как-то подпитывали нашу жизнь. В целом, она у нас с Гульчатай удалась, мы вырастили сына и внуков, теперь радуемся и правнукам. Какая радость еще нужна старикам? Бабка моя так постоянно общается с детьми и с внуками по мобильнику и телефону, а я корпею над писаниной, среди каких и эта, может, даже и неоконченная повесть.

К О Н Е Ц

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Познать литературную мудрость, которая постоянно меняется, оставляя свой след в произведениях писательского и журналистского мира, мне хотелось всегда, отчего я даже окончил 58 лет назад журфак КазГУ, но мудрость эту не постиг, как постигли ее Лермонтов, Пушкин, Грибоедов, Олжас Сулейменов. Ольга Шиленко, Любовь Шашкова, Владимир Гундарев У них книжки-сборники, поэтические выкладки, читаемые многотысячной читательской публикой, а я, чертов питекантроп, едва научившийся писать клинописью, и то на камне, за всю свою жизнь издал только один стихотворный сборник в пятьдесят экземпляров. С раздачей родным и друзьям осталось их у меня какой-то двадцатник, какой не представляю, кому сунуть и куда пристроить.

Насчет повести - видно, ее ожидает та же участь. Не скажу, что в ней проклюнулось какая-то современная шедеврость, только в ней я изрядно пскувыркался. Ни брат Анатолий, ни Гульча эту повесть в глаза не видели и не читали, а потому понятия не имеют, о чем там говорено и ради чего, по выражению моей Гульчатай-апы, я так выкладывался, на что мне пришлось ей сказать:

— Слушай, дорогая Маргарет Тэтчер, если у человека поет душа - он поет, и никто его не остановит. У меня так болела душа со всем моим прожитым временем с 2009-го по 2012-ый. Что случилось - ты знаешь, вот это время втиснул в своей повести. Какой она получилась - скажут издатели, каких мне надо ждать как с моря погоды.

Конечно. моя Гульчатай - Маргарет Тэтчер знала этот мой жизненный период, в каком и ей не сладко жилось без меня, как и мне без нее. После моя Гульча все мои прежние мучения только представляла, какие испытать и врагу не пожелаешь. Даже братан мой Анатолий, на себе испытывавший подобные мучения, но продолжительностью в месячный отпуск, и то говорил, что за все эти годы болезни брата Ивана я совершил истинный подвиг, за что брат и на том свете наверняка будет меня благодарить.

Про себя думал: будет ли братан благодарить меня, только я потерял с ним половину своей жизни. Кто не испытал подобного, пусть его обойдут

такие несчастья, такие невзгоды, какие пришлось претерпеть мне. Оттого, наверное, я втихаря молюсь солнцу, чтоб оно продлило мое существование, пронесло и дальше мои годы, за какие я смогу чему-то научиться у жизни, у друзей, каких давно не видел и не встречался, заодно же написать нечто большое, капитальное, наподобие лермонтовского "Героя нашего времени". Вот сидит он у меня в душе, и как его вытурить оттуда - не знаю. Преклоняюсь перед Лермонтовым, а вот поклониться его памяти прямо на его могиле в Тарханах так и не смог до сих пор, и, думаю, это никогда не случится. А ведь мог же сделать это, образина чертова, пятьдесят и шестьдесят лет назад, когда как бы не раз сто проезжал через эту самую Пензу. Ну, тормознись на пару дней в этом городе и навести эти самые Тарханы. Заодно бы поклонился и бабушке Лермонтова Арсеньевой, какая якобы покоится в тех же Тарханах.

Насчет долголетия до следующего Года Лошади - такое крутится и у меня в голове. Наверняка подобное у кого-то на уме и сегодня. Ничего в том криминального нет, как нет и ничего предосудительного. От Лошади до Лошади так это целых двенадцать лет! Надо иметь великое мужество и тарзановское здоровье, чтобы прожить такие годы, когда за плечами уже семерка да еще с прицепом. О том в своих записях постоянно заботится Рымарь, чего не упущу сделать и я.

А об известности у Рымаря наверняка получится лучше моего. У Рымаря так повесть нарисовалась, стихи какие-то кувыркаются. У меня же, как у латыша, одна душа и ни шиша. Что ж, почитаем Рымаря, а о себе буду заботиться весь стремительный Год Лошади. За год можно немало натворить всяких дел, если не сидеть сложа руки. Ну, складывать руки я не собираюсь - не мой стиль и не мой характер, почему и буду наверстывать, чего не доделал прежде. Что из того получится — Бог весть, однако что-то да должно получиться. Может, рожу некое подобие "Героя нашего времени" или того же Рымаря, только нечто более живое, чем у него, и подпишусь своим именем. Так сделал Лермонтов, так делает и Рымарь, так сделаю и я, после чего мы непременно встретимся с читателем на страницах, в каких-то издательствах, а то и на каких-то официально-неофициальных встречах. Люди должны знать друг друга, читатели с писателем - непременно, так была устроена жизнь прежде, такую она осталась и теперь.

А в заключение предлагаю всего лишь фотографии людей, какие прошли со мною через всю эту необычную, на мой взгляд, повесть, какую автор не хотел делать скучной и утомительной. Как это получилось - скажет читатель, а философы из издательств постараются разместить эти фо-

тографии каждую к своей главе, соответствующей правде и действительности.

И наконец, чего хотелось бы пожелать моему любимому городу, моей любимой Караганде в эти весенние дни?

Любимый город может спать спокойно и видеть сны и видеть сны среди весны.

Насчет писательского труда в мире говорено довольно много, и всегда по-разному. Себя писателем не называю - надо иметь совесть, а вот простым любителем литературы и литературного труда, что является моим любимым хобби, я занимаюсь крепко и даже основательно, особенно когда ушел на свой "дембель", длящийся уже целых пятнадцать лет.

За эти три пятилетки толкового мною нечего не написано, но какие-то старые записи подняты, проштудированы, где-то поправлены, что-то расшифровано. Серьезными вещами не занимался, кропал стихи в новом плаче, соответственно нынешнему времени, и колдовал над старыми, писанными в молодые годы.

Часчет все того же писательского труда... Античного Лукиана я уже приводил и решил на древних больше не спотыкаться. Зачем ворошить время Плутарха, Аристотеля, Птолемея, Эсхила, Софокла, Еврипида и других, какие были известными в свое время и стали просто гениальными в оценках потомков от всего современного человечества? Я так решил - лучше обратиться к современности и привести высказывания о писательском труде известных людей, каких знает свет и мировая литература.

Из воспоминаний Ивана Бунина мы узнаем, что при встрече с Чеховым ему запомнилось, как тот сказал: "Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед".

В другой же раз Чехов как-то спросил Бунина:

- Вы много пишете?

Бунин ответил, что мало.

- Напрасно. Нужно, знаете, работать, не покладая рук, всю жизнь...

Заодно же советовал писать как можно короче.

Чехов, по словам Бунина, якобы говорил, что писатель должен быть "в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать. Писателей надо отдавать в арестанские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями. Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости беден". И далее: "Платон говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор! Три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар, и особенно писателю".

Хотелось бы и мне, ссылаясь на Ивана Бунина сказать, что один писа-

тель жаловался: "До слез обидно, как слабо, плохо я начал писать!" - на что Чехов восклицал:

- Ах, что вы! Это же чудесно - плохо начать! Поймите же вы, что если у начинающего писателя сразу все выходит честь по чести, ему крышка, пиши пропало!

Большой писатель Чехов доказывал, что "рано и быстро созревают только люди способные, то есть неоригинальные, таланта в сущности лишённые, потому что способность равняется умению приспособливаться, и живет она легко, а талант мучится, ища проявления себя".

Не знаю, стоит ли тут стареть с Чеховым, только, думается, в его словах о писательском труде есть что-то выстраданное. Вторгаться в мир писательского труда мне недосуг, и вряд ли я со своей приземленной агадырской колокольни смогу что-то прозвонить новое.

О писательском труде написано и сказано немало классических высказываний. Писатель пушкинского периода Карамзин так откровенно сказал: "Мы не аристократы в литературе. Смотри не на меня, а на произведения...",

У Пушкина же хватило смелости и гражданского духа сказать: "Никакое богатство не может перекупить влияние того, чем овладевает книга, никакая власть, никакое управление не может устоять против типографического снаряда. Уважайте класс писателей!".

Высказываниям о писательском труде и правда несть числа, всех их не их не перечислить, но о некоторых, наверно, всегда нужно вспоминать, потому как они безоговорочно точно говорят о том, когда и зачем нужно писать,

Толстой так понимал эту задачу по-своему: "Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, когда потребность выразить это содержание не дает покоя".

Ну и напоследок хотелось бы привести о писательском труде и слова великого Шолохова: "Писатель должен уметь прямо говорить читателю правду, как бы та горька ни была. Поэтому к оценке каждого художественного произведения нужно, в первую очередь, подходить с точки зрения правдивости и убедительности".

Вот такие и теперь мы читаем мысли о труде писателя, о значении в нашей жизни писательского труда, в целом нашей великой литературы. На этом и хотелось бы поставить точку, только упрекнул себя в том, что не назвал высказывания таких великих чародеев литературы, как Белинский, Чернышевский, Горький. Наверно, без их мыслей будет беден мой рассказ, мои скудные строки.

Белинский. несомненно, правильно заметил, что "...литература есть сознание народа, цвет и плод его духовной жизни". Конкретно верно сказал свое слово о писателе и Чернышевский: "Писатель должен быть органом желаний своего народа, его руководителем и защитником". И, наконец, хотелось бы запомнить, что же говорил о литературе великий Горький: "Цель литературы — помогать человеку понимать себя и развивать в нем стремление к иетине, бороться с пошлостью в людях, уметь найги хорошее в них. возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтоб люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты..."

Да, такие вот мысли великих рода человеческого о писателях и писательском труде, о большой литературе, какая испокон живет в народе, отражает его жизнь, его мысли и поступки. как и саму жизнь, мысли и поступки отдельного человека, вышедшего из народной среды. Своих мыслей о том не высказываю, поскольку они не иначе как явятся повторением уже сказанных прежде.

3 эти мартовские дни 2014-го, когда весенняя распутица и застоявшийся холода не дают высунуть из дома носа, большей частью замыкаюсь в себе. Седьмого марта подкатили мои семь и семь, заставившие отчего-то вспоминать о прошлом, о моем детстве, накрытом четырьмя военными годами, о послевоенном, таком же трудном и не всегда сытном времени, затем времени взросления, юношества, парубкования, первой любви, женитьбе и работе, первом неожиданном ребенке, какого не ждали и не планировали, поскольку оба мечтали об учебе...

Нам и было-то с женой двадцать три и двадцать один — время, когда выбирается жизненный путь и профессия. И ничего, поступили оба на заочку, ребенок не мешал, тем более как рядом были дед бабкой — родителем. моей Гульчатай. Во внуке они души не чаяли, отчего наш Валерка рос на их руках, как на дрожжах.

Дед уже был на "дембеле", всю жизнь отдав железной дороге, отчего, наверно, и внук впоследствии пошел по его стопам, да и по стопам нашим, своих родителей, которые тоже посвятили себя железной дороге и отдали ей по сорок лет своей жизни. Трудовой стаж моей Гули-Гульчатай-МргаретТэтчер уюадывался, правда, не в круглый сороковник, а в тридцать зосемь. но и это с ее стороны большое достижение.

Обо всем этом, о своей жизни и моей Гульчатай я, может, когда-то и расскажу, только бы жизнь моя не кончилась ни на моих двух семерках, ни на последующих за ними, какие я прошу белый свет и Аллаха продлить до круглой девятки, когда и наступит очередной Год Лошади. Вот тут я уж

точно слажу с жизнью и непременно выложусь как писатель, о каком будет знать мой Агадырь и мой большой шахтерский край.

Другой известности мне не нужно, я успокоюсь и тем, что будет, о чем мечтает и самодетельный писатель из соседнего Жанадыря Роман Рымарь. Нас наверняка можно назвать братьями по перу, ну, а братья должны помогать друг другу во всем. Я мечтаю прочесть повесть Рымаря, а он наверняка тоже мечтает что-то прочесть и мое.

Слава Богу, жизнь идет, и мы в ней не остаемся простыми сиделками и наблюдателями жизни в нас и вокруг нас. Как говорили великие, нам надо вторгаться в жизнь и отражать ее на страницах своих книг. Так делало человечество даже на грани своего первого появления — рисунками и клинописью на камнях, какие дожили и до нашего времени.

С появлением же письменности человек стал великим летописцем своего времени, за что мы и должны поклониться ему, как и любому писателю прошлых лет и нашего века, какие не шли и не идут по жизни попутчиками, а всегда являлись ее творцами.

Как жить дальше - не знаю и не планирую, только быть бездеятельным пенсионером не входит в мои планы. Встречаться во дворе с такими же пенсионерами, бьющими домино, простые игральные карты в "дурака" и шахматы, не намерен, хотя окружающие деды всегда приглашают и сердятся, когда я отказываюсь от их компании и не сажусь за их дворовый деревянный стол.

О том, что я занимаюсь какой-то писаниной и что даже издал четыре книги, они понятия не имеют и книг моих в глаза не видали и не увидят, потому как отдаю я их только своей родне в Астане, в Жалтыре и на Алтае, да двоим-троим близким друзьям в Агадыре. Друзьяки же, не знаю, читают ли что-либо вообще, только книги мои их не возбуждают: при встречах они просто здороваются, молчат да сопят и ни слова о том, что им интересно в моих книгах, что, по правде, просто обижает.

Про себя же думаю: а чего обижаться? Друзьям моим одному восемьдесят пять, а другому круглая восьмерка. Не знаю, не забыли ли они буквы и не разучились ли вообще читать, что старикам тде-то можно и простить, потому как у них, по моим прикидкам и наблюдению, мысли просто набекрень. Ладно, что при встрече еще как-то узнают, здороваются да жалуются на свои недомогания, а о книгах — ни словом, ни мыслью, ни духом.

Неужто под старость и я стану таким же немощным и бездумным? Нет, тут уж лучше и правда надо отбросить копыта, чтоб не копытить белый свет. Человек должен быть деятельным всегда мыслью, делами, поступками, а

ке просто замкнуться в себе и прозябать, не общаясь с живым миром и друзьями. Такого я допустить не позволю.

Я люблю жизнь, люблю буквально все живое в ней и всегда хочу быть в кругу людей, от детей до глубоких стариков. Я радуюсь Солнцу, Луне, звездам, великому космосу, породившим Землю и человека на ней, какой своим умом своей жизнью управляет и жизнью на Земле и даже в космосе, учась продлевать ее до жизни такого природного украшения Земли, как деревья. Деревья в природе живут долго, вот человек и стремится дотянуться до их возраста - наверно, когда-то у него это и получится. К тому времени нас, конечно, уже не будет, но останутся наши потомки, какие сделают жизнь богаче, краше и намного длиннее той, что определено ей природой, веком и космосом.

Николай СЛЕПЦОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ГЛАВА 1	5
ГЛАВА 2	15
ГЛАВА 3	19
ГЛАВА 4	26
ГЛАВА 5	32
ГЛАВА 6	39
ГЛАВА 7	44
ГЛАВА 8	50
ГЛАВА 9	57
ГЛАВА 10	64
ГЛАВА 11	71
ГЛАВА 12	76
ГЛАВА 13	82
ГЛАВА 14	89
ГЛАВА 15	94
ГЛАВА 16	99
ГЛАВА 17	108
ПОСЛЕСЛОВИЕ	112

Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 8 п.л.
Заказ № 508. Тираж 30 экз.
Отпечатано в типографии ТОО «АРКО»,
г. Караганда, ул. Сатпаева, 15.
Тел.: 41-17-80.
www.arko-print.kz